

Содержит
цензурную
брань! 18+

ДИНА РУБИНА



Яша, ты этого хотел?



На солнечной стороне

Дина Рубина

Яша, ты этого хотел?

2021

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Рубина Д. И.

Яша, ты этого хотел? / Д. И. Рубина — 2021 — (На солнечной стороне)

ISBN 978-5-04-157746-9

Дина Рубина – мастер конфликта. Особенно того острого, порой трагического, сторонами которого оказываются человек и история. Всякий раз писатель ставит героя в ситуацию практически безвыходную. Чудо – вот что спасает его из водоворота запредельных по жестокости событий («Адам и Мирьям»). А еще – семейные узы, основанные на любви и уважении («Дети Дома Этингера»). И конечно, искусство, которое возвращает униженному, доведенному до состояния пыли человеку статус творца («Старуха Баобаб», «Фарфоровые затеи»). Содержит нецензурную брань

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-157746-9

© Рубина Д. И., 2021

Содержание

Фарфоровые затеи	6
1. Просто жизнь	6
2. Дулёво	15
Любка	23
Баргузин	39
Конец ознакомительного фрагмента.	44

Дина Рубина

© Д. Рубина, 2021

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2021

Фарфоровые затеи

*Памяти Асты Давыдовны Бржезицкой
Она крошечная, смуглая, иссушенная – словно обжиг прошла.
Седая косица, заплетенная сзади. Глаукома, уже оперированная, но
прогрессирующая.*

1. Просто жизнь

– Гуленька, деточка, не бойся, она не страшная, не укусит... Нет, не верит никому. Видишь, кто бы ни пришел, она под диван забивается. Деточка. Настродалась от добрых людей...

Что это за свертки ты вытаскиваешь, какого черта? У меня все есть, я сама тебя сейчас накормлю... Ну, не хочешь – сиди голодной. Ты не против, что я на «ты»? Имею право: девяносто лет – это уже не возраст, это эпоха...

...Пойдем сядем на диван... он называется «Шурик». У меня сосед был Шурик, таксист, я упростила его поехать со мной купить новый диван. Вроде как он мой муж. Шурик говорит: «Да у меня на морде написано, что я таксист!» Но все ж поехал.

Заходим, видим – стоит этот благородный диван, бархатный. Одинокий. Продавщица говорит: «Он вам не подходит. Во-первых, дорогой, во-вторых, не раскладывается, в-третьих, он последний».

А Шурик ей: «Кто вам сказал, что нам нужно его раскладывать? У меня этих коек дома навалом. Заверните! Берем!»

...Это что ты разматываешь, что за проводки? Ах, ну да... И что – весь этот мой бред неостановимый будет напечатан? А кому понадобится все это читать? Это же не роман какой-нибудь. Это просто жизнь... Вон, любая старуха на лавочке, – она тебе интереснее расскажет... Она и в политике разбирается, в отличие от меня. Хотя вот, знаешь что – этому Президенту новому очень симпатизирую. Очень он мне нравится. Ведь он в моем сне спас Гулю от наводнения... Серьезно: помню, там на каком-то острове с грузовика в лодку перегружают двух свинок, козочку, а для Гули места не хватает, и она остается за бортом. И, знаешь, мы плывем, а Гуля – за лодкой, и лает, и стонет... У меня просто сердце разрывается от горя. Тут какой-то господин рядом со мной – элегантный, худой – аккуратно снимает пиджак, подтяжки, галстук, ботинки и носки. Очень аккуратно складывает это стопочкой на скамейку, бросается в воду и спасает Гулю! Да-да – и, забравшись в лодку, кричит: «Скорее сухое полотенце, она же совсем мокрая!»

Ну скажи – как я могу его после этого не любить?

У меня за него душа болит – вряд ли ему дадут что-то сделать хорошее. Ведь он не может окружить себя теми, кто умеет работать. Он, понимаешь, должен окружать себя теми, кому доверяет. А кто они, эти самые, кому он доверяет? Парни с его двора, говнюки оканные... Ты как относишься к плохим словам?

– К матерным?

– Ну да.

– Хорошо отношусь. Это же определенная эмоциональная краска в разговоре, иногда необходимая.

– А я могу и без них вытерпывать. Немного, но могу.

– ...и Раневская ваша вот тоже...

– Да, доктор Бакулев знаменитый однажды пришел к Фаине Георгиевне. Он дружил с ней, любил ее очень... Мы с ней сделали обед, такой, приличный, но не шикарный – шикарный он не позволял... Пришел, говорит: «На что жалуетесь, Фаина Георгиевна?»

«Александр Николаевич, не сру!»

«Сейчас посмотрим».

«Что – посмотрим?!»

– Евгения Леонидовна, ну, поехали, благословясь? Включаю кнопочку... Здравствуйте, Евгения Леонидовна! Как я рада нашей встрече и как благодарна, что вы – легенда, так сказать, российского фарфора – дали на нее согласие. Я вот, знаете, долго не могла придумать, с чего разговор начать. А как только переступила порог, увидела эти ваши скульптуры, которые с детства во многих семьях, на многих комодах, буфетах, полках встречала...

– ...А знаешь, что самое страшное? Самое страшное для человека, который проработал как проклятый семьдесят лет, – это праздность. Самое страшное, что надвигается слепота и – никуда от нее не деться...

– Нет, я так не могу! Я не могу с этого начинать!

– Чего ты не можешь, дура?! Тебе обязательно надо вот это самое – «родилась я в городе Тамбове...»? А кстати, родилась-то я знаешь где? В Пензе... Дед был – миллионер, лесопромышленник, выбился в купцы первой гильдии трудом, умом и сверхъестественной честностью. А его брат Яша подался в революционеры. Ходил в кожанке, с наганом на поясе... После революции у семьи сначала экспроприировали все предприятия, отняли деньги. Дед брату сказал: «Яша, ты этого хотел?»... Ну, в двадцатые годы «уплотнили» нас так, что вся семья жила в одной двадцатиметровой комнате в коммуналке. И снова дед спросил: «Яша, ты этого хотел?»

А в тридцать восьмом ночью пришли за Яшей и увели его навсегда. Дед успел прорыдать ему в спину, которую больше никто никогда не увидел: «Яша, ты этого хотел?!»

– А в Пензе... Там большой дом был?

– Ну, домик кой-какой... Наша семья занимала весь верхний этаж. А знаешь, самое главное впечатление у меня от детства-то какое? Когда я в один день постигла, что такое рождение и что такое смерть. Это просто у меня такая метина, зарубка в памяти... Сперва я была принцессой в доме, потом появился брат Оська, не родной, сын моей тети Полюси. Родился, значит, Оська... И к нему шли с поздравлениями. Тетя Полюся стояла такая величавая, она у нас дородная была, в отличие от Саши.

– А... Саша?

– Саша – это моя мать. Я ее всю жизнь называла – Саша. Она изящная была, зеленоглазая, рыжая. И свистела.

– Как это – свистела?

– погоди, не плунтайся под ногами! Это словечко нашей домработницы Суры, суровой женщины. Ей Борис Александрович, мой муж, говорил: «Сура Яковлевна, вы очень жирно готовите. У меня печень больная, я не могу так жирно есть». Она говорила: «Ай, не плунтайтесь под ногами, идите прежде!»... Я – про что?.. Да: так тетя Полюся принимала поздравления. У нас была лестница красного дерева... в разные стороны так разбегалась... И тетя Полюся стояла наверху, на площадке, с младенцем на руках. Ему все несли какие-то приношения. А я – мне три года исполнилось – сидела в дедовом кабинете на козетке и тихо говорила: «А мне – ничего»... И все думала, как же от него избавиться, от Оськи, жить-то надо.

Ночью проснулась, спустилась в одной рубашонке в кухню, нашла топор и поволокла его наверх, в спальню... тяжелый, сволочь!

– Это вы – чтоб брата зарубить?

– Ну, само собой. Да, ташу топор... А наверху меня уже нянька моя, Настя, поджидает. Говорит: «Женюра, куда ты ночью топор тащишь?» Я говорю: «Оську убить. Помогите мне, я

не могу, он тяжелый». Она отняла топор, объяснила, что Оську уж не стоит убивать. Грех это. Ежли родился, пускай живет...

– И вы смирились?

– Не сразу. Приходили все новые гости, приезжали родственники отовсюду. И приехал откуда-то из Франции, он там учился, роскошный дядя, неженатый. Эдакий светский парижанин: я его помню не то во фраке, не то в смокинге... Кудрявый.

«Что ж ты тут сидишь грустная, Женюра?»

И я ему раскрыла сердце.

«Да ты что, разве можно так сокрушаться? Что ты, Оська – это же кусок мяса, а ты – шикарная женщина!.. А я тебе привез гостинец!» Открыл коробку, и оттуда волна запаха какой-то краски. Гадость, я сейчас думаю, отравы, но мне показалось волшебным ароматом. Внутри лежала Сестра Милосердия! Самая дешевая кукла, наверное, что попалась ему по дороге, на вокзале каком-нибудь, но дороже ее у меня не было. И на этом кончились мои страдания. Я ведь вообще – в раю жила. Огромный двор у нас был – рай настоящий... Вставала рано-рано, часов в шесть, и выбегала босиком во фруктовый сад. Однажды увидела ярко-румяное яблоко, прекрасное, теплое, оно так ни-изенько висело... И я подошла и вот так подставила руку, и оно, опущенное какой-то нежной пыльцой, такое... под-лин-ное... оно село мне в руку, улеглось... понимаешь? – не упало и не оборвалось, а просто пришла пора ему оставить материнскую ветвь. Я ощутила это как чудо: оно недавно было – цветок, а теперь сидит у меня на ладошке живое яблоко. И пошла с этим яблоком в кухню – показать его Насте, она и стряпала у нас. А в кухню в это время шел всеобщий любимец селезень Васька. Шел себе вразвалочку: такая перламутровая синяя испепеленная шейка, глаз такой веселый, на какой-то там протоке его уже ждал гарем. Он шел в разведку. Ему на кухне давали кусочек хлебца каждый день. Все его любили. С добычей отправлялся к своим. Я увидела, что Васька идет в кухню, подумала: не буду мешать, обожду здесь. И села в траву... А Васьки нет и нет. Я пошла в кухню узнать, где он. Настя посмотрела на меня как-то смущенно и говорит: «Иди ты отсюда, нечего тебе тут делать, на, играй» – и что-то бросила мне в руки – холодное, мокрое. Я вышла на улицу, на свет – разглядеть. Это была Васина головка! Ладонь омочилась его кровью, белая пленка закрыла глазки... Я даже не плакала, я онемела. Несколько дней не ела, не выходила к столу. И эта кончина милого существа неопишущей красоты... Я не могу тебе даже объяснить, что это для меня было...

Пауза

– Евгения Леонидовна, вот вы о селезне, которого, конечно, жалко. А что революция, война, весь этот кошмар начала века? Он ведь жизни опрокидывал... Ваша семья...

– У нас Саша после заграничного санатория оказалась в Крыму, в Алушке, в частном пансионе – у Саши были слабые легкие. Хозяином пансиона был такой Овчинников, юрист, с васильковыми глазами, с красной разбойной бородой. У него была охранная грамота, потому что на каком-то процессе, где Фрунзе приговорили к смертной казни, Овчинников его отбил.

– Это на каком же процессе Фрунзе приговорили? Еще до революции?

– Да. Потом его, как известно, зарезали товарищи по партии. Культурно, на операционном столе...

Ну, и отец повез меня на поезде в Алушку, к Саше. Тащились несколько недель, время-то было опасное, глумливое... Однажды посреди степи на поезд напала банда красных. Один, мордатый такой, голос сиплый, крикнул: «Евреи есть? Выходи!»

Вышли мы с отцом и еще одна семья: дед, мать и трое детей. Отец спрашивает: «Вы куда нас ведете?» – «Сам знаешь – куда!» Тогда отец вынул золотой портсигар и сказал: «А вот, не пригодится ли вам эта вещичка? Смотрите, какие драконы великолепные, какая тонкая

работа»... Тот взял, повертел в руках, открыл портсигар, почти полный отцовскими папиросами, такими... благоуханными, буркнул: «Ладно, проваливайтесь, пока не смотрю!»...

И мы с отцом бросились бежать... А ту, другую семью, голь перекатную, понятно куда повели...

И вот, не помню уж как – добрались до Алупки, разыскали пансион, где жила Саша, миновали огромный парк роскошный, вошли в дом, нам горничная показала ее комнату... Саша стояла на веранде, залитой солнцем. И свистела.

– Что-что?! Погодите, я н-не совсем...

– Мне было шесть лет... Мне показалось, что передо мной божество: Саша, в белоснежном сарафане на тонких бретельках, облокотилась о парапет террасы, в рыжих волосах переливалось солнце, а за спиной ее стояла синяя стена. Я никогда прежде не видела моря, поэтому не поняла – что это. И лишь когда по синей стене пополз крошечный пароходик, ахнула и обомлела.

Я робко к Саше приблизилась... Добирались-то мы несколько недель, не утруждая себя мытьем в поездах, да еще после того налета спали где попало, скитались по селам, добирались на попутных шарабанах... Можно вообразить, во что превратилась моя и без того всклокоченная голова. Саша склонилась ко мне, потянула носом воздух и сказала: «Какая гадость!» И повела мыться...

И все это уже было счастьем: дивный парк... Море...

– В те годы там жилали многие замечательные люди...

– Понимаешь, когда травят блох на собаке, все блохи скапливаются на носу. Вот так и в эти годы – с 17-го по 25-й – многие интеллигенты скопились в Крыму: в Коктебеле, в пансионатах в Алупке, Мисхоре... И Аверченко, и Тэффи, Волошин... Всех не перечтешь – очень благородная публика. Я при них там крутилась. И еще были дети...

Мы учились там, знаешь? Например, рисовать нас учила художница Хотяинцева. Мы, конечно, понятия не имели, что она дружила с Чеховым, с Билибиным. Для нас все это был пустой звук, мы были маленькие невежды.

Да, Хотяинцева... Она поставила вазу на лавку, и в вазе три цветка – незабудки. Все нарисовали, что видели. Я же нарисовала примулу, и на ней, как на колючей проволоке, были цветочки разбросаны...

«Где ты их увидела?» – спросила меня Хотяинцева.

«А мне так хочется!»

Она сказала: «Дурочка, уж из тебя-то художника не выйдет никак».

– Угадала...

– Да, вот такие люди... Поэтому-то и говорю таким языком – их языком... А Саша... она божественно свистела!

– Да что это значит, наконец?!

– Пока Саша была в Италии, кто-то научил ее свистеть, не открывая рта. Казалось, звуки льются прямо из души.

Однажды она говорит мне: «Мало знать один язык. Ты будешь заниматься немецким и французским». Говорю: «Саша, есть хочется!» – «Ну так что, лучше умереть грамотной, чем невеждой!»... Мы каждый вечер шли по берегу босиком из Алупки в Мисхор – специально, чтобы послушать под окнами одного дома неземную, упоительную музыку. Стояли весь вечер, на окне колыхалась тюлевая занавеска, из окна разливались, извергались потоки счастья... А однажды мы дошли и – услышали тишину. Только занавеска под ветром безмолвно вырывалась из открытого окна и опять влетала в дом. Мы долго, долго стояли, все надеялись... Потом вышел человек и сказал: «Уехали Сергей Васильевич, уехали-с...»

– Сколько же километров вы отмахивали?

– До Мисхора не так много... Каждый день в оба конца... Саша делала все, чтобы занять меня, отвлечь от еды.

– А голодное было время?

– Совсем голодное... Опухшие трупы на улицах.

Помню, однажды, когда мы шли берегом моря в Мисхор, я спросила ее: «Саша, а ты не боишься, что я вырасту мимо?» – «Как это – “мимо”?» – удивилась она. «Ну вот я расту себе, пью, гуляю... а вдруг я вырасту не такой, как ты бы хотела, а какой-то совсем другой, чужой тебе?..»

И как раз в этот вечер... эта опустошенность – как вылетала из окна легкая тюлевая занавеска. И ни единого звука... «Уехали Сергей Васильевич, уехали-с...» Где-то постреливали, но мы не обращали внимания.

– Сколько вы пробыли в Крыму?

– В 21-м году с первым санитарным поездом подались в Москву. Сначала в Алушке появилась мамина сестра Римма, балерина Большого театра. Потом приехал ее муж, и он-то нас всех загрузил в поезд. И мы ехали в Москву... двадцать четыре дня.

– В Москву – двадцать четыре дня?!

– Двадцать четыре дня. Времена менялись, власти менялись, на поезд постоянно нападали, то он вдруг останавливался без всякой причины, то вдруг без всякой причины мчался...

– А когда нападали на поезд, что отнимали – деньги?..

– Да у нас нечего было отнять! Один раз, помню, вошел совсем молодой, хорошенький такой... У него вот тут, на руке, висели сумки... Навел на меня дрожащий пистолет... кажется, он сам его боялся... сказал высоким голосом: «Вот до чего вы нас довели!»... Повращал глазами и ушел. Нет, нас не трогали. Ну что с нас было взять?..

– Ну а когда добрались в Москву?

– Вон, видишь, на книжном шкафу скульптура? Моя бабушка... Вот такая она сидела: величавая красавица рыжая, с рыжим котом на руках, у ног черный пудель, а на нем верхом сидел маленький королек-петушок. У него там было гнездо, на пуделе. Это первое мое впечатление в Москве... Меня опять отмыли, и я очень быстро освоилась.

– А где вы там жили?

– Против Елоховского собора, на том месте, где до нашего стоял дом, в котором Пушкин родился. В глубине двора – фруктовый сад, заборы все порушены... сам Елоховский, правда, не тронули. Мы туда часто ходили послушать пение, особенно в Страстной четверг.

– Вас крестили?

– Нет. Саша сказала: «Я родилась еврейкой, и моя дочь ею останется. И пусть будет, что будет. Пусть нас вышлют». Но никто нас больше не тронул.

– В какой школе вы учились?

– В девятой, имени почему-то Нансена. Тогда очень любили Амундсена, Нансена. Они были национальные советские герои. Наверное, это сейчас смешно?

И праздники отмечали как-то смешно. Помню Женский праздник. Зал набит такими интеллигентными благоухающими дамами.

– А это женская школа была?

– Нет, нет. Просто мамы пришли на спектакль в их честь. И вот, только представь себе: бывшая Медведниковская гимназия, очень добротное выстроенное прекрасное здание в стиле модерн. Внутри зал огромный... И я на сцене этого зала: беленькие в резинку чулочки, лаковые туфельки, черное бархатное платье. И писклявым омерзительным голосом я выкрикнула: «Довольно обжигаться у горшков и мужу отдавать поклон! Сегодня делегатка я от всего рабочего района!» Дальше забыла. Мне не дали продолжать. Такой поднялся смех в зале! И меня как выставили на сцену, так и вынули, как куклу. Больше я не появилась.

– Завершение вашей артистической карьеры?

– Нет, зачем же. Я еще в нескольких спектаклях с не меньшим успехом участвовала. Но главное таинство помню: вступление в пионеры... Экзамены проводили не на шутку, задавали страшные идеологические вопросы... Дошла очередь до меня. Я вошла. В комнате сидели три мальчика, очень убежденные люди. По-моему, всех троих потом расстреляли. «Скажи, Горштейн (это моя девичья фамилия), когда было Боксерское восстание в Китае? Знаешь?»

«Никогда в жизни!» Мне было 11 лет.

«Ладно, дам тебе вопрос полегче, – говорит Яша Кронос. – Какая разница между этикой и моралью? Это уж совсем легкий вопрос». Совсем легкий! Да только я такая незадачливая...

«А что ж ты знаешь?»

Я сказала, что знаю все про Марата. Как раз на днях рассматривала книжку, и там была картинка: Шарлотта, убивающая Марата. Ну, я им все рассказала: какой это был страшный преступник, который боролся со всеми аристократами, со всеми интеллигентами, грамотными людьми. Пытался погубить Французскую революцию, Францию... Очень пылко рассказывала про Шарлотту, как она жизнь свою отдала, чтоб тирана убить!

Они переглянулись и попросили меня выйти и прийти на будущий год.

Когда я дома описала все это Саше, она сказала: «Так тебе и надо, охота тебе вступать в эту сволочь!»

В те годы завязались у меня многие дружбы. Например, я училась в одном классе с Саней Гладковым. Мы часто гуляли по Новодевичьему. Никаким заповедным в те годы оно не было. Так, просто кладбище по соседству. Много чего смешного там попадалось – например, памятник маршалу Пересыпкину. Поколенный портрет. Он стоит – морда как полено, говорит по телефону. Интересно – с кем это он говорит?

Мы с Саней сбегали с уроков, гуляли, все строили планы, как будем вместе писать сценарии, пьесы... Его, само собой, посадили в свое время. Как раз когда Эльдар снимал фильм по его пьесе «Давным-давно», Саня гнил на лесозаготовках. Потом, когда его реабилитировали, мы однажды столкнулись в коридорах Министерства культуры. Он бледный был, измученный такой, как с креста снятый... Очень скоро умер...

Пауза

– Евгения Леонидовна, а когда вы почувствовали, что вы – художник?

– Ну, ты как-то торжественно это... Сейчас, я задумаюсь... Да не было у меня никакого такого чувства. Не было... Сперва лепила на пляже из черной глины, потом из пластилина. Все удивлялись, как это у меня хорошо получаются всякие Золушки. Потом в руки попался альбом рисунков Сомова... Румяные эти красавицы, эта жеманность. Я была от него в полном упоении... Но так, чтоб почувствовала, мол, «нет пути иного» – дудки! А вот потом, когда появился Менделевич...

– Который скульптор?

– Вот. Понимаешь, Саша не любила моего отца. У нее был роман со скульптором Менделевичем. Но она почему-то считала себя обязанной жить в семье, со мною. Однажды был у них какой-то истеричный разговор с отцом, Саша заперлась в своей комнате и плакала там навзрыд. Я постучала, вошла к ней – мне было лет двенадцать – и стала уговаривать ее уйти из дома. «Саша, – говорила я, – не мучайся ты ради меня, уходи... Ну подумай: пройдет еще несколько лет, и какой-нибудь прохвост или негодяй станет мне дороже всего на свете...»

Она проволынила еще год и ушла к Менделевичу. И все разом повеселели...

– Так вы стали учиться у отчима?

– Ну, не совсем «учиться»... Скорее, просто околачивалась у него в мастерской. Ты знаешь, что он учился во Франции, у Карла Росси? Это как получилось: он на Весеннем вернисаже выставил мраморную головку «Смеющаяся девушка», прелестная была работа. И она

приглянулась богачу Гиршману, помнишь, Серов писал портрет его жены с палантином? Гиршман. Так он буквально влюбился в эту головку (она была с четверть натуры, мраморная)... И говорит: «Если принесешь мне ее домой, пешком, я тебя на два года отправлю во Францию учиться».

– Изверг какой...

– Да-да, Гиршман, богач, филантроп. Ну, Исаак Абрамович взвалил ее на плечи прямо с вернисажа, да и поволок...

– Сколько же она весила?

– Не знаю. Наверное, много. Мрамор же. Мрамор, не что-нибудь, не вынутый, ничего. Да и на подставке...

– Сколько же он так шел, бедный?

– Не помню. Гиршман жил на Поварской. А где проходил вернисаж – не знаю. Сам Исаак Абрамович в то время снимал студию в Гранатном переулке. Недалеко от дома, в котором потом Берия жил. Этот дом Голицын строил для своей возлюбленной цыганки Шурочки Христоворовой, с которой дружила Саша.

– В каких же годах это было?

– Спроси что полегче...

– Спрашиваю: значит, вы стали ходить в мастерскую к Менделевичу, и?..

– Ну да... просто сидела, смотрела... Однажды он делал какую-то вещь, деталь самолета или группу «Три летчика», и вдруг говорит: «Ну, скопируй что-нибудь из того, что можешь». Видно, как-то понял, что я смогу. Так я стала помогать ему на подхвате. Он в то время работал над портретами знаменитых летчиков. Громов приходил позировать после Чкалова – так это были день и ночь. Громов – денди, со стеклом ходил. А Чкалов был обаяшка, очень простой, очень свойский... Ты знаешь, что он после перелета из Америки возвращался на пароходе? И какая-то знаменитая актриса на палубе ему сказала: «Если б я знала, что вы поплывете на этом пароходе, я бы сдала билет, вы испортили мне всю рекламу!» Понимаешь, на эту дурунду никто уже не смотрел. Все хотели потрогать живого Чкалова... А он позировал Исааку Абрамовичу... Ну, и Громов позировал. Я на одном сеансе слепила его фигурку как-то вот, за час. Бывает так, нашло какое-то вдохновение... Головочка манюсенькая... Но такого сходства никто не мог потом передать. Исаак Абрамович подошел, посмотрел и сказал: «Мала голова» – и размял. Сердце у меня развернулось на другую сторону...

– И не простили вы ему?

– Дело не в этом. Я в то время вольнослушательницей ходила в такой... техникум художественный, в Леонтьевском переулке. Опоздала к экзаменам, студенты уже были набраны. Болталась я неприкаянная, кислая, и – горевала... И Валерий Павлович, Чкалов, говорит: «Погоди, я сейчас все устрою. Как этому вашему Грабарю звонить? – Тут же набирает номер: – С вами говорит Чкалов Валерий Павлович, у меня к вам большая просьба: есть очень талантливый молодой художник-скульптор, примите ее на испытательный срок. Если она вам не покажется, вы ее прогоните, я не буду в претензии, а если покажется и будет работать, век вам буду обязан...»

– Да уж... свойский человек...

– Свойский! Так что я Валерия Павловича должна благодарить.

– И вы стали там учиться...

– ...и это, доложу тебе, непростое было дело. Я ведь отчимом была обучена. А он как: сперва клал кучу глины, потом выкручивал оттуда носик, глазки, ротик и прочее... И когда я стала этот способ при всем классе воспроизводить, все на меня смотрели как на монстра. Потому что скульптура строится с основания каркаса, с построения головы.

– Ну, а Менделевич?

– ...носик, это, брат, дело последнее, а не первое. Если с носиков начинать – ничего не выйдет.

– Но ведь у Менделевича выходило?

– Когда как... Профессора по скульптуре у нас менялись часто, пока не пришел наконец Александр Терентьевич, Матвеев. Ну, я у него, по-моему, вызывала только отвращение.

– Почему?

– Плохо я работала, очень плохо. Когда он, бывало, ходит по классу и встанет так за твоей спиной... Ты как бы начинаешь видеть скульптуру его глазами, и тебе открывается все, что напортачила. И это было ужасно... Стала я нанимать модель и вечерами лепить в мастерской... Девочку одну нанимала. Девочке было лет семь, я ей платила рубль за сеанс, она была довольна. Только очень мучилась неподвижностью, все время приговаривала тоненько: «Побегать-побегать-побегать-побегать...» – и ногами сучила...

И однажды вдруг слышу за спиной знакомый стук палочки. Обернулась: стоит Александр Терентьевич, смотрит... Говорит: «Я думал, все обстоит гораздо хуже». Большой похвалы я никогда в жизни от него не слыхала. Счастлива была безумно!

– А вы ведь уже были вполне взрослым человеком.

– О чем ты говоришь! Я замужем давно была. Муж мой, Боба, поляк, он был черный график – знаешь, что это такое? Это когда автор пишет научную книжку с чертежами и в рукописи рисует почеркушки всякие, а художник, график, по его наброскам делает отличные чертежи для книги... Боба страшно был добрый, мы жили в коммуналке, с соседями, так он соседскую девочку очень баловал. Деньги давал – на конфеты, на мороженое. На аборт... Ну, позже, разумеется. Но страшный был игрок! Такая моя пожизненная беда, что поделаешь... Играл ночами... Однажды я прождала его всю ночь, а он пришел под утро. Я была страшно разъярена. Открываю дверь, а он держит перед собой на вытянутых руках блюдо – подлинный Федор Толстой. Выиграл. Ну, что ты ему скажешь. Во-он оно, висит над тахтой. Он потом мне шали выигрывал, длинное серое платье из ангорской шерсти... И, главное, все эти выигрыши-проигрыши они обсуждали с соседской домработницей Феней, тоже заядлой картежницей. Но Феня играла в дворницкой, а Боба – в высших сферах.

– А у вас, вы говорили, тоже домработница была...

– Так это Сура наша, Сара Яковлевна. Это так только считалось, что она у меня была домработницей. На самом деле впечатление было, что я у нее домработница.

Женщина подлинной судьбы, соответствующей веку. В юности муж ее бросился в партию, она – в комсомол. Его в положенное время расстреляли, а ее на каком-то собрании хотели заставить признать его врагом народа. Сура сказала: «Если он враг, то кто же вы тогда?» Ее вывели прямо из зала. Десять лет без права переписки. Двое малолетних детей, их разобрали родственники. Она отсидела одиннадцать лет, говорила: «Меня спасло то, что я месила тесто. Иначе бы я сдохла». Знаешь, огромные плечи... Я потом даже со спины в бане научилась распознавать такую еврейскую фигуру: мощные плечи, большой бюст и сравнительно узкий таз. Так вот, Сура. Она таким ярким языком говорила, такие словечки выговаривала – к нам гости, бывало, придут, и каждый старается с Сурой Яковлевной разговориться. А потом наши семейные словечки разносятся по всей Москве...

У меня была птица знакомая, одноногая голубь. Прилетала ко мне на свидания, я ее кормила. Почему одноногая? Добрые люди оторвали. Сура говорила: «Прилетала ваша голуб. Она так кричала, так кричала, даже войла!»

– Евгения Леонидовна, а ведь время было какое... людоедское... Как вам в те годы жилось-то?

– А, знаешь... Да, людоедское. Оно, конечно, так... Вот говорят, мы все в страхе жили. Но... как бы это тебе объяснить не крамольно, по-человечески... Мы весело жили. Мы были

молоды, зарабатывали приличные деньги, часто ходили в рестораны – «Националь», «Континенталь»... Танцевали...

– Что танцевали?

– Бостон, танго, чарльстон... Домой возвращались часам к пяти утра. И если видели перед подъездом черную машину, то прощались друг с другом.

А летом... как ехали в Рыльск? Поездом до Курска, потом пересестъ, потом нанять лошадку худенькую и сорок километров лошадкой. Поселиться у пани Вашук, самогонщицы... Меня она называла «пани млода Ракицка». В первую ночь уложила нас спать на перине, такой, что мы не могли найти друг друга... Потом спали во дворе под грушей, на нас падали спелые плоды – груши познания. А главное событие было – приезд театра из Курска. Пани Вашук надела лучшее платье, на бретельках, «брильянты» – вся шея, все руки унизаны были блестящими камешками... Сидела гордо, прямо, оглядывалась вокруг – все ли видят, что рядом с ней сидят друзья «с Москвы»?

Что это был за театр! Ничего смешнее я в жизни не видела. Пьеса называлась «Платок и сердце» – из крепостной жизни. Главный герой-любовник во фраке из лыжного костюма. Потом шли балетные номера. Мы старались не смеяться, нас бы растерзали. Это было грандиозное событие – в городке, где последней сенсацией было убийство царевича Димитрия.

– Евгения Леонидовна, ну а когда все началось-то, ваше дело, вот эта ваша фарфоровая судьба знаменитая?

– Ну ты сразу: знаменитая! Погоди... Мое дело, говоришь... С чего началось Дулёво? Это все опять Александр Терентьевич. Он нам дал задание – это было под конец войны – сделать дома эскиз, композицию на вольную тему, и принести ему на показ. И все несли кто что: кто там с винтовкой, кто с гранатой, кто ползет, кто выполз, кто не дополз. Одна у нас была, считала, что она лучше всех, – поставила какой-то обелиск, вокруг каких-то женщин томных пораскидала и заявляет: «Это эскиз памятника павшим женщинам». Хохот поднялся невыносимый. Она: «Чего вы смеетесь?» Матвеев ей: «Памятник павшим!» – «Ну, я же и сказала: павшим!» Потом я развернула свою работу, и хохот уже стал просто гомерическим. У меня шел медведь и нес на руках Татьяну, которая упала в обморок.

– «И снится чудный сон Татьяне»... Известная ваша композиция.

– ...Я людей лепила тогда отвратительно. Медведей – ни разу. Так что чудесная была группа. А Матвеев так задумчиво смотрел-смотрел... И вдруг говорит: «Но это же совершенно фарфоровые затеи!»

– Так и сказал – «затеи»?

– Да, говорит: «Совершенно фарфоровые затеи... Вы попроситесь на практику в Дулёво». Я говорю: «Ну кто меня примет?» А он: «Я напишу письмо. И поезжайте туда. Вы увидите, у вас все получи...»

2. Дулёво

– Ну вот, здравствуй... Это ты молодец: сказала в десять, явилась в два. Молчи, я понимаю, дела и мишура, жизнь, любовь, измена, месть. А мы с Гуленькой тебя очень ждем. Гуленька, ну где ж ты, покажись, тетка же приличная оказалась, хвосты порядочным людям не поджигает... нет! Вот непреклонная душа! Диван, оно надежнее...

Среди всех моих зверей – а ты можешь представить себе эту армию? – Гуленька самая кроткая, самая деликатная. А самым благородным был Зять. У нас такая любовь была неистовая. Он караулил гаражи во дворе. За это ему кто кость бросит, кто супчика вынесет прокисшего, а кто и вовсе о нем забудет. В общем, пес безымянный, простолюдин. Но он интересен тем, что был необычайно длинный, ну, как столб.

– Так он такса был?

– Он был никто. Просто длинная собака. Ну, представь себе дога, который вырос под диваном. Выгнутые ножки, вот такая большая черная голова и белая маечка. И наступила зима... Никто им не интересовался, про него все забыли. Он попросился в подъезд к человеку, о котором думал, что тот добрый. Погреться у батареек зимой, 23 градуса мороза... А тот отпихнул его ногой, отогнал его. Я это видела из окна, спустилась прямо в халате вниз, говорю: «Пойдем жить ко мне». И он поверил. Оказывается, он по лестницам не умел ходить, ни разу не ходил, представляешь? Добрались мы с ним с грехом пополам, я налила ему супца с мясом, сложила вдвое ваточное одеяло... Он набросился на еду, лег и проспал двадцать два часа. Потому что очень настрадался. Потому что понял, что никто не пнет, не ударит... Кротости неземной. А кто из гостей его Зятем назвал, не помню. Лицо у него было – ну, «морда» же не скажешь – мудрейшее, глаза как на портретах голландских мастеров... Такой великолепный был пес. Хромой. Судьба их ко мне приводит...

...Ну, давай уж сразу чай пить, в тот раз ты меня провела: некогда-некогда, да и хвостом вильнула...

– Просто пленка закончилась, а другой не запаслась...

– Сегодня запаслась? Идем на кухню...

– Только я сама все буду делать, ладно?

– Давай, черт с тобой. Я здесь, в любимый угол законопачусь и буду командовать. Лимон возьми, нарежь тоненько... Умеешь? Чашки на второй полке, слева. Там же хлеб. А сыр в холодильнике, в дверце. Там – трех сортов от трех гостей... Только мне завари крепкий, чифирь...

– А сердце?

– А плевать... Ну, пошла проводки разматывать... Розетка позади тебя. Постой, ты почему маслом хлеб не мажешь? Вот то-то...

– Евгения Леонидовна... Мы в прошлый раз остановились...

– Слушай, а может, ну ее к лешему, эту мою жизнь? Столько есть вещей интересных. Лучше ты вот расскажи...

– Евгения Леонидовна!!!

– Ну хорошо, хорошо! Сразу и гром и молния. А мы про что говорили в тот раз?

– Про Дулёво. Как все начиналось...

– Как начиналось... я про Александра Терентьича Матвеева рассказывала? Как он мне письмо написал рекомендательное в Дулёво... Ну вот... А ехать туда в то время было так. Сперва, чтобы успеть на поезд, шестичасный – пешачком идти с площади Восстания на Курский вокзал. Пришла. Села, сижу на скамье. А рядом стоит... Ну, это нельзя не рассказать. Стоит у чугунной печки махонькая такая женщина, вот такая, как я сейчас. Кроха в митенках. Ну, и поскольку нас двое оказалось в такую рань, завели разговор. Я спрашиваю: а вы далеко едете? Не знаете, как лучше в Дулёво добираться? «Это я не знаю. Я поеду до Орехова. Я хожу

по поездам, пою». Я не сразу поняла, что это ее заработок. Что, спрашиваю, поете? «Ну то, что знаю, что смолоду пела. Хотите, вам спою?» – «Да я ж тут одна, что с меня взять». – «Все-таки я вам спою...»

Забыла этот романс... «Она была мечтой поэта...» Нет, не помню. Но сидела, слезами умывалась. Она говорит: «Хотите, еще что-нибудь спою?» – «Нет, я не хочу вся зареванная приехать в это треклятое Дулёво!» Она еще постояла и ушла...

– Но вообще-то песни, что в поездах на милостыню поют, всегда очень жалостливые...

– Одна была просто гениальная! «Соловушка где-то в саду-у-у...» Нет, он сперва входил – в черных очках, глубоко слепой человек, с вот такой гармошечкой – и громким уверенным голосом говорил: «Братья, сестры, я вас не визжду, я не визжду божжий свет, но я вам спою!» И вот он пел: «Соловушка где-то в саду-у-у, в гуще душистой сире-е-ени песенку пел о любви-и-и, клялся любить без изме-е-ены. Я ли тебя не люби-и-ил, я ль на тебя не моли-и-ился, след твоих ног ца-лова-а-ал, чуть на тебе не жени-и-ился!»

– Жуть как трогательно...

– А дальше так: «Я пред тобой провини-и-ился, ты торопливо ушла, так я и не извини-и-ился. Зачем же так горько страда-а-ать, зачем так безумно влюбля-а-а-аться. Любовь не умеет проща-а-ать, любовь не умеет смея-а-аться»!

– Потрясающая песня!

– Я говорю: «Вы сами ее сочинили?»

«Да нет. Ее все поют. Городской романс».

«Спойте еще раз, я вам дам 3 рубля. И запишу слова». Три рубля тогда были как сейчас 300. А он мне: «За 3 рубля я вам сам слова напишу!» Снял черные очки, глазки острые такие оказались, видел, конечно, не хуже нас. Достал вот такой огрызок карандаша. Послунявил и записал слова. Ну как я могла тогда, дура набитая, не оставить этот документ! В нем было девятнадцать с половиной ошибок. Но такая прекрасная песня!

Так вот, под всякую эту музыку три часа надо было ехать на поезде до 85-го километра. Там, как тогда говорили, «вылезать» надо, и с сумочкой заплечной, в которой еда, идти пешком семь с половиной километров до сухой дощечки-указателя «Дулёво». И все маленькими деревнями... Все кругом интересно, все мне нравилось... Так, значит, «Дулёво» сюда, а напротив – Ликино... Не помню, у какого писателя, кажется, у Чапека, непрерывная война саламандр... Так у них тоже было, у Дулёва с Ликиным. У них вражда происходила на общем стадионе. Начиналось все с футбольного матча. А Ликино – это же бывшая морозовская мануфактура. Ткачихи, понимаешь? А с нашей стороны, с дулевско-фарфорской, выходили гончары-керамисты, здоровенные бугаи. Ну, сходились на этом поле, жаждали драки. Всем не важно было, чем кончался матч, им бы только дожидаться, чтоб он скорее кончился – броситься друг на друга!

И вот тогда я поняла, что это такое – настоящие ткачихи. Они уносили на плечах своих побежденных мужей, избитых до полусмерти нашими бандюками. «Матч» этот обсуждался потом неделю до следующего побоища. Это было вообще-то смешно. Но в первый раз я была потрясена эпической картиной: как женщины высыпали на поле и разбирали своих мужей. Там же здоровенные бабины работали, и все страшно громко разговаривали, потому что в ткацких цехах очень шумно, и они привыкли орать, чтоб друг друга слышать. А привыкши так орать, они уж не стеснялись ни в выражениях, ни в тембре голоса.

– Евгения Леонидовна, расскажите про первый свой день в Дулёве.

– Ну вот я тебе и рассказываю. Пришла, значит... Попала в перерыв. Было начало первого. А перерыв кончится в два. На проходной мне сказали – вы посидите, подождите... Рядом был такой скверик. Тополя, каких больше нигде на свете нет. Это я ответственно тебе говорю. Выше пятиэтажного дома. Просто уходили в небо. Стволы толстые-претолстые. Шелест у них нежный такой...

– Серебристые тополя?

– Серебристые, да... И где-то там среди листвы был замаскирован серебристый матюгальник, который в это время играл серебристого Мендельсона. А на земле кругом, как посмотришь – такая яркая, особенная, серебристо-зеленая мурава... Я сидела, млела и думала: господи, какие счастливые люди, которые тут живут и работают! А тут еще откуда ни возьмись явилось шестеро белых гусей. Невиданной величины гуси, ну как диван. Никого не боялись, шли так, будто они хозяева всего тут вокруг. Ко мне подошли: ты кто такая? Словом, я была ослеплена Дулёвом еще до того, как переступила порог проходной.

– А потом?

– Потом разговор с директором. Захолустный такой, добрый человек. Прочитал записку Матвеева, сказал: «Ну ладно, попробуй, может, у тебя что-нибудь получится. Ты что хочешь?» Я показала... вон, видишь, на полке стоят эти большие чайники? – что я хочу такой вот чайник расписать. У него в кабинете заготовки рядом стояли. «Ну, это тебе не справиться». – «А я попробую. Мне покажут...» И прямо в этот же день я его расписала, чайник. Вот он там стоит, синий, с розовыми цветами...

– Значит, ему сколько лет? В каком году эта первая поездка в Дулёво?..

– Вот как начинается – в каком году, – тут швах дело...

– Приблизительно – сороковые-пятидесятые?

– Да, конечно, сороковой с гаком, почти пятидесятый. Мне объяснили, что его надо задуть, потом прочистить... но тут уж рассказывать тебе технологию – это до вечера, бог с ней совсем.

– Кого задуть? Печку?

– Темная ты баба... Для того чтоб получить синий чайник, его надо задуть из пульверизатора синей краской. А потом надо же на нем рисовать. Сначала чистить места, где будет рисунок. Значит, расчищаешь так, чтоб не повредить это дутье. Потом пишешь на этом красками... Потом ставишь в огонь... Потом не живешь на свете: не порвет ли его и как он выйдет? Вышел он хорошо. Все меня одобрили. Тут как раз приехал главный художник Дулёва, мужичок такой круглый, лысый, абсолютно беззубый, ну ни единого, представляешь, зуба! Причем дикция превосходная у него была.

– А как же он без зубов говорил?

– Пес его знает. Говорил. Много, долго, да так торжественно. Уверен был, что приехала темная баба из Москвы. Посмотрел на чайник и сказал: «Беру эту женщину на завод. Только вы бросьте институт». Я спросила – почему? «Он лишит вас непосредственности». Я сказала: пускай лишает. Если бы Пушкин не знал букв, он бы «Евгения Онегина» не смог записать. Так и я. Выучусь там грамоте, это вам не помешает. Словом, приняли меня на завод.

– Трудно было сперва?

– А ты как думала... Подселили меня – вернее, сама я прикипела к нему – к старому мастеру Маслову... Там как жили? Еще старинной постройки, кузнецовской, дома, двухэтажные, сложенные из бревен, на каждом этаже две квартиры по три комнаты. Вот он, Маслов-то, старик, меня к себе и взял. Мы очень быстро подружились. Недели через три как-то ночью он стучит ко мне в комнату: «Женюра, вставай! Вставай скорее!» А я смотрю на ходики: четвертый час утра.

– Он вас Женюрой называл?

– Женюрой. Меня там все звали Женюрой... сначала... Потом, через годы – Евгения Леонидовна. Потом, в конце, просто – Леонидовна...

– Так, говорит, вставай? Чего – вставай?

– Вот и я: «Чего вставать-то?!» – «Вставай, вставай, там узнаешь – чего. Одевай, хоть чего не то накинь, побежим»... Я босиком, в рубашке, как была, выскочила. Идем прямо в сад. У него маленький фруктовый сад. И там... Не знаю, как тебе изобразить... Пели соловьи! Он меня повел слушать соловьиный хор! Это было упоение! В каждом маленьком садике –

вот как две комнаты моих величиной – сидели и пели соловьи! И все, кто соображал, выходили их слушать... И так возвеличился он в моих глазах, Маслов этот... Потом он сказал: «Ты слушай только меня. Знаешь, старики зловредные какие. Подсказывают новеньким приемы, после которых у тех все наперекосяк... А ты слушай меня. Я тебя под свою руку беру. Если тебе скажут, что ты поплый сперва на стекло, потом помой его – не слушай. Знай, что это уж гиблое стекло. Нельзя, чтоб слюни или вода попали на стекло, на котором расправляется живописная краска». Ну, тут масса мелочных секретов. Вот... В общем, стала я работать. И, как все начинающие, была нахальной, самоуверенной. С чего начинает начинающий? С Петра Великого, тихо-скромно.

– И вы с Петра начали?

– А как же... Когда через несколько лет я его случайно увидела на складе готовых изделий, я подумала: господи, откуда была такая наглость? Я слепила балерину на тонких ножках с выпученными глазами. Ужас! Обожгла. И что он никому не понравился, меня очень обидело. Мне казалось, это очень талантливо. С годами проходит, слава богу. Чем больше умеешь, тем меньше понимаешь...

– Евгения Леонидовна, а как вы пришли к своему театральному циклу? Как это было?

– Знаешь, у меня какое-то воображение приемистое – я что увижу, мне сразу хочется это слепить. Смотри, вон, наверху – «Встреча любовная», видишь? У нас во дворе жила девочка Катя и совсем в другой семье – собака Смелый. Они жили в разных подъездах, но выходили гулять одновременно и бросались в объятия друг другу, как влюбленные. Он первым делом облизывал ей все лицо. Она целовала его в нос. Я наблюдала это изо дня в день и не могла не слепить... Такая это была невозможная искренняя любовь... А театр... Не знаю, почему я решила, что надо лепить театр... Саша моя очень любила театр. Особенно «Принцессу Турандот». Ну и втемяшилось мне – слепить Турандот.

А что это значит? Я отходила двадцать семь спектаклей! И ничего не могла придумать. Ступор какой-то. Верный признак – надо бросать затею к чертовой матери... Потом как-то с одного спектакля пришла и все нарисовала, как должно быть. Ночью. А утром рано встала и сразу начала лепить. Причем жили-то мы в коммуналке, само собой. Кроме нас, в ней жило еще сорок два человека. Один галюн, одна ванная.

– Я даже представить себе не могу.

– А ты вот представь. Просто жили так, и все. Это даже не казалось ужасным, так большинство жило...

– Евгения Леонидовна, а так называемая «оттепель», она каким-то образом вас затронула? В литературном мире она многое перевернула.

А вот в мире вашем, художественном, в фарфоровом мире, произошло что-то существенное?

– Наш «художественный» и наш «фарфоровый» – это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Фарфоровый завод, как и всякое производство, стоит в стороне от всех московских выставок, законов, споров, цеховых благ всяческих. И дрызг. Мы люди мастеровые, нам некогда собачиться. Выставляться мы выставались, конечно. Однако были наособицу, самостоятельные, ни на что не претендовали. Даже не знаю, полагалось что-нибудь нам от МОСХа или нет, этого никто не знал... А Турандот, в общем, я слепила, и получилось красиво.

– Еще бы! Знаменитый ваш цикл, четыре работы. Я даже эскизы видела в каком-то журнале.

– И в МОСХе, когда увидели, что такая получилась неожиданная красотища, которую и я сама не ожидала, – решили эту работу подарить театру – от Союза художников. Уже я тут как бы и ни при чем. И вот начался очередной спектакль «Принцесса Турандот», пошел

занавес – на сцене стояли все четыре скульптуры. Вышел редактор какого-то декоративно-прикладного журнала, чего-то там вякал, потом Евгений Рубенович Симонов говорил. Ну, словом, мне сильно хлопали. И она осталась у них в театре навечно, Турандотка моя... Сперва ей специально саркофаг сделали, на колесиках, в нем она паслась. А директор театра был тогда Марк Соломонович Местечкин. Я, помню, спрашиваю его: «Почему на колесиках? Это же слишком *покато*?» А он мне, милый человек, отвечает: «Женечка, у нас тут не всегда выставка работ. Мало ли... Тут у нас, бывает, и гроб стоит». И умолк. Через десять дней он умер, и его гроб точно на том месте стоял. Напророчил себе... Марк Соломонович все спектакли смотрел, особенно те, в которых Юлия Константиновна играла. Она была его вековой женой, Юлия Константиновна Борисова. Тут уже первое действие закончилось, а его нет. Она в антракте бегом в его кабинет: «Ну, что ж ты не идешь?» – а он сидит за столом мертвый.

А через десять дней после него умер мой муж...

Пауза

– Вот как...

– Вот как... Ну... Так это, значит, первая моя была театральная работа. Потом еще были другие, много, но гораздо слабее.

– Это вы себя судите строго, как художник.

– А как еще я себя должна судить?

– А после «Турандот»?..

– А сразу после Чеховский музей заказал мне целых десять работ. Ну, Чехова упоение было делать. Я год этим жила. Все работы прошли с успехом. Покажу потом фотографии. И директор там был такой человек сладостный. Почти слепой.

– Директор чего?

– Чеховского музея в Мелихове.

– Евгения Леонидовна, а вы знали Книппер-Чехову?

– Видела один раз живьем. А за глаза не любила всю жизнь.

– Почему?

– Мне казалось, что она не по-людски к Чехову относилась. Она приходила под утро, пахнувшая сигарами и вином, развязная, веселая, бесцеремонная. Сняла квартиру без лифта, хотя знала, что каждый шаг по лестнице ему стоил здоровья. Она обижала его! Ну я, как могла, все же свела с ней счеты, все-таки постаралась.

– Каким же это образом?

– Я делала композицию «Вишневый сад», и там она такая... Рыдает. Работа детальная, условия жесточайшие: вот «Вишневый сад», будьте добры сделать нам две большие группы многофигурные, и чтоб точно те исполнители, которые играли в Ялте на премьере, да с портретным сходством, и все детали костюмов и декораций извольте соблюсти. Ну где это мне было разыскать? А все-таки удалось каким-то чудом.

– В архивах?

– Нет, просто в частной коллекции одной старой дамы, которая собирала всякие театральные каталоги, программки, фотографии. Так Книппер... Она там сидит, рыдая, закрыв лицо одной рукой, а другой так цепко вцепившись в бумажник, чуть ли не когтями...

– Она ведь Раневскую играла в «Вишневом саде»?

– И потом еще в «Трех сестрах» я тоже, как могла, сделала ее не очень обворожительной.

– Жестокая месть художника. Я знаете, о чем хотела вас спросить... Вот художник-живописец: пошел, заказал подрамник, натянул на подрамник холст, поставил на мольберт, взял кисточку, выдавил и смешал краски и написал что хотел.

– Вот именно: ура, все кончено. А у нас все только начинается...

– А с чего начинается?

– Во-первых, дурынду эту надо на завод доставить. Хорошо, когда уже появилась машина, или такси... А так ведь это не просто. Она или глиняная, или пластилиновая. Это все весит. Ну ладно, приволокла. Теперь самый мучительный процесс – ее режут на куски; потом ее обратно соберут, но пока что зрелище – груды кусков из того, над чем ты тряслась, как над младенцем. Потом ее формовщики форматируют. Потом садятся автор с помощником и монтируют эти куски как было. Монтируют, зачищают. Вот отсюда – спасибо партии за это – силикоз у меня. Да и у всех на заводе. Раз в году проверка: приезжает автобус с оборудованием, выстраивается очередь. Входишь в этот сумрак: повернись вправо, повернись влево, повернись спиной. Силикоз. Следующий! Ну, ладно. Потом, когда она уже зачищена, ее надо окунуть в глазурь.

– Зачем?

– Чтоб блестела! Ведь это все блестящие вещи. А бывает «бисквит», и ничем не политой, как мрамор он. Такую скульптуру делать проще, но она и хода не имеет. Значит, ее надо полить. Полить – это как? А вот надо взять ее, особенно если она большая, этак в две руки, и погрузиться в чан, с половину этой комнаты величиной, по пояс. Вот так окунуться туда и медленно вынуть ее.

– Как?! А это же вес большой?

– Конечно, большой.

– А кто это делал?

– Я, или если я не могла поднять – вдвоем с помощницей, или мужика звали какого.

– Вы же хрупкая женщина!

– Ну какая хрупкая, господь с тобой! Я была вынослива, как лошадь. Какая там хрупкость. Хрупкие не осият этого... И вот уже она у тебя в руках, с нее стекает глазурь. Надо донышко подчистить, потом поставить ее так, как она будет обжигаться. И она должна сохнуть. А если она искренно так сохнет в мастерской, это длительный процесс. А если ее сушить искусственно – это риск.

– Лучше, чтоб сохла сама по себе?

– Конечно. Вот она высохла, слава богу, ура, ничего с ней не случилось. Теперь ее надо отнести аж через весь завод в другие *муфля*, где ее обожгут.

– Муфля – это цеха?

– Это обжиг. Муфельные печи. Сперва были только *горна*. Были такие *конселя* с полстола величиной, из шамота. Туда ставилась работа, и выбиралась оттуда она примерно на третьи сутки. Лезешь туда – 50–60 градусов.

– Боже мой!

– В том-то и дело: боже мой. Снимаешь эту коробку. И достаешь то, что вышло. Не дай бог тебе с этим вылезти на улицу или чтоб форточка открылась в этот миг. Ветерок налетит, работа простудится и треснет прямо у тебя в руках. Значит, ее надо, как младенца, в ватник завернуть и сидеть с ней, пока не почувствуешь, что ее температура с твоей сравнялась. Тогда ее можно в мастерскую нести, там спокойно рассмотреть, как она получилась. Получилась, слава богу. Но это еще не все. Когда она поступает в печь, она попадает в температуру сорок, примерно сорок пять градусов. И на вагонетке медленно движется... Вагонетку чуть потряхивает. И это скульптуре тоже вредно. А другого выхода нет, по воздуху не полетит. Значит, идет она так, потом сворачивает. И вот там, где ты сидишь, там кульминация – там температура 1400 градусов. А поступает она туда в каком виде? Вот как если б ты ее сделала из сливочного масла в жаркий день. И за эти несколько секунд она из жалкой мягкой глины превращается в фарфор! Но этого мига ты не знаешь! Тебе не дано, это тайна сокрытая, Божественная! Ты только узнаешь, когда работа выйдет оттуда, как Феникс из огня...

Пауза

– А... потом? После этого?

– После этого идешь в живописный цех с этой цацей. Опять же, сколько она весит, столько весит. Все твое.

– А сколько это может весить?

– Мало ли. Скульптурка может быть такая махонькая, а может быть «Ревизор» неподъемный. Или «Ковер-самолет». И вот уже там, в цеху, начинаешь расписывать. И тут тоже ни одного неверного движения невозможно допустить. Причем есть краски, которые не любят совмещения никакого... Проще всего покрыть поверхность и по ней расписывать. А те художники, что искали на белом расписать так, чтоб было не хуже, – по-моему, настоящие подвижники.

У нас даже есть рабочая страшная поговорка – вот как обращаться с вещью при росписи: «Как вся жизнь». Так и обращаться, понимаешь? Как вся жизнь... И вот она расписана уже! Красотища, глаз не оторвать! Айда обжигать! Если это маленькая вещь, она едет в вагонетке и обжигается себе, если размер серьезный – в печь ее круглую. Открывается дверца вот такой толстоты. Там два отсека. И не больше трех вещей можно сразу обжечь. И ты начинаешь влиять хвостом перед этим пьяницей Салтыковым незнамо как...

– А что – Салтыков?

– Он горновщик, и все в его руках. Он может усилить огонь, ослабить огонь. Раньше времени открыть, позже открыть.

– Испортить?

– В какой-то мере от него зависит. И это тоже надо пережить. Умолить, чтоб три часа не открывали... чтоб не трогали вещь. Но ведь если кому срочно надо, приходится открывать. Откроют и вынут.

– Это очень вредно?

– А рискованно, не просто вредно. Все можно погубить. Рискованно! Ну вот... И когда наконец ты ее приняла на руки свои, расписную, красавицу... Завернула в ватник, принесла в мастерскую и там сидишь, высиживаешь, ждешь нужной температуры... И вот раскрываешь! И вдруг – все получилось!!! Это счастье... Как настоящая любовь...

Пауза

Это и есть любовь... Потому что иногда думаешь: господи, ну где были мои глаза, вот это... Петр Великий на тонких ножках! Он как живой передо мной. Глаза вытаращенные, дурак дураком.

– Евгения Леонидовна, а когда вы перестали ездить в Дулёво?

– В восемьдесят пятом. Официально уволилась с завода. Меня пригласил директор и сказал: «Евгения Леонидовна, мы должны уволить двух скульпторов. Нам на будущий год ставки сократили...» Мне этот суконный язык советских отчетных собраний, знаешь, ненавистен. Вот вызывает Всевышний к себе святого Петра и говорит ему: «Петр Абрамыч, нам на будущий год две души сократили...» Да, и вот этот туда же: «Кого вы рекомендуете уволить?» Я тогда уже старейший скульптор была, заслуженный лауреат, то-се... меня на кривой козе объехать никакой возможности не было. Ну, кого из своих коллег, из товарищей-цеховиков, я могу рекомендовать уволить? Говорю: «Увольняйте меня». И он засуетился, обрадовался, что так все полюбовно, без огорчений. Сказал: «Вам остается пропуск, квартира, право делать творческие работы на заказ. Все остается, кроме зарплаты».

– А у вас квартира там была?

– Ну какая там квартира, господи! Полуподвал с железной койкой, из щелей деревянного пола крысы выходили поздороваться. Иногда кошка приносила полкрысы в подарок – делилась со мной. Мы с ней приятельствовали...

– И вот там-то вы жили по несколько недель подряд?!

– А как же. Когда работа идет... Тогда уже ничего, кроме нее, ты не замечаешь, ничего и никого, кроме нее, тебе и не нужно...

Пауза

– Евгения Леонидовна, дорогая... Спасибо вам огромное! Думаю, материала для интервью достаточно. Дней за пять я это все обработаю и... Ответьте только уже «не для протокола» – вы никогда не жалели о выборе?

– Ты просто как мой дед. Он дожил до девяноста пяти, перед смертью все вздыхал и говорил мне: «Лучше бы ты стала фармацевтом!»

– Это который дед – тот самый, лесопромышленник, миллионер?

– Тот самый, который: «Яша, ты этого хотел?!»

– А вот если окинуть взглядом всю жизнь...

– ...Это уже не жизнь, это эпоха!

– ...окинуть взглядом знаменитую эпоху по имени Евгения Леонидовна Ракицкая, чтобы выбрать – в каком ее периоде очутиться вновь... То вы бы?..

– Дулёво.

– Потому что – работа, творчество?..

– Потому что – свобода... Неохватная внутренняя свобода. От мужа, картежника и гуляки... от свекрухи проклятой, от всей муторной крестной тяготы... Потому что – любили меня там, были там друзья, помощники, приبلудные звери... И какая-то была райская чистота души, рук и глины... Вечная первозданность мира: глина... огонь... новорожденное Творение... Потому что в эти часы и мгновения ты – как Бог...

Пауза

...как Бог...

Пауза

...как Господь Бог...

Любка

Ноги у Любки гладкие были, выразительные и на вид – неутомимые, хотя на каждой стопе вдоль пальцев синела наколка «Они устали»... Надо же – щеки впалые, плечи костистые, живот к спине примерз, а ноги – даже странно – что там твоя Психея!

– Одевайтесь, пожалуйста, – сказала Ирина Михайловна и, глядя, как торопливо и зябко путается девушка в лямках рубашки, размышляла.

Надрывная татуировка Ирину Михайловну не смутила. Она второй год сидела в заводской медкомиссии, навидалась за это время всякого, понимала, что детство и юность у человека не всегда протекают на стриженных газонах. Любка держалась скромно, глядела порядочно, пальцы ног на осмотре стыдливо поджимала.

Ирина Михайловна дождалась, пока она оденется, бестолково выворачивая туда-сюда рукава куцей зеленой кофты, и позвала ее в коридор.

– Послушайте... Люба... – она заглянула в лицо девушки. – Вы не представляете, какой это тяжелый хлеб – труд обдирщиц. Через месяц вы рук своих не узнаете, сплошные будут рубцы и ожоги...

Любка настороженно помалкивала, соображая, какого рожна заботливой докторше надо.

– Не пойдете ли няней, ко мне? У меня ребенок, восемь месяцев. Сидеть некому, положение тяжелое... А я... я вам шестьдесят рублей буду платить...

Похожа была докторша на воспитанную девочку из ученой семьи. Некрасивая, веснушчатая. Нос не то чтобы очень велик, но какого вперед выскакивает: «Я, я, сначала – я!» И все лицо скроено так, будто тянется к человеку с огромным вниманием. Губы мягкие, пухлые, глаза перед всеми виноватые. На кармашке белейшего халата уютно вышито синей шелковой ниткой: «И. М. З.».

Ах ты, докторша... Ну нянькой так нянькой...

Любка собрала лоб гармошкой и сказала:

– Прикину. Адресок пишите...

Две-три улочки двухэтажных домов вокруг базарной площади, почта, пять магазинов в дощатых будках да несколько десятков бараков – этот городишко лепился к металлургическому комбинату и был его порождением. И небольшая санчасть, куда по распределению после института попала Ирина Михайловна, тоже относилась к комбинату.

Стоял сентябрь пятьдесят первого, жесткие душные ветры летучим песком продаивали насквозь каждый переулочек.

Собственно, распределиться после института можно было удачнее, следовало только вовремя взять справку о беременности. Но мама – а она была человеком мужественным и властным – сказала своей бездумной дочери: «Как ты не понимаешь, Ирина! Сейчас захолюстье для нас – спасение... Ничего. Подхвати живот, поедem».

К тому времени прошло два года, как серый, чесучовый, безликий в окошке сообщил, что отца перевели в другой лагерь без права переписки. Передач не принимали. Маму давно уже уволили из госпиталя, где она заведовала неврологическим отделением, жили они на Ирину стипендию, поэтому будущая Ирина зарплата представлялась поводом к дальнейшему существованию.

Так что подхватили живот и прибыли «по месту распределения».

В кирпичном доме им дали комнату – приличная комната, метров двенадцать, в квартире с одной соседкой, и кухня большая, даже ванная с титаном есть – чего еще! Все прекрасно, все прекрасно... Ирина Михайловна проработала три месяца и ушла в декрет. Сонечка родилась в той же санчасти. А что, да почему, да от кого – это никого не касается. Глубоко личное дело...

Главное, с мамой ничего не было страшно, она умела все – перелицевать пальто, торговаться на базаре, сварить из пустяка борщ, нашить пеленок из рваного пододеяльника, – вероятно, для этого в свое время она окончила Сорбонну. Словом, Ирина Михайловна выросла в уверенности, что крепкий человек мама не подкачает.

Но мама подкачала. Она умерла в одно мгновение: стояла у окна с пятимесячной Сонечкой на руках, вдруг сказала спокойно:

– Что-то нехорошо мне, Ира, дай-ка воды, – успела опустить ребенка в коляску и – у мамы никогда ничего не болело! – упала навзничь.

Когда, расплескивая воду, Ирина Михайловна прибежала со стаканом из кухни, мама лежала на полу и уже не дышала. Дипломированный врач Ирина Михайловна долго ползала вокруг мамы, как медвежонок вокруг убитой медведицы, оглашая воем квартиру, пытаясь делать искусственное дыхание, не понимая, почему у мамы нет пульса и вообще ничего нет.

Так что вот какое дело... После похорон на песчаном полупустом кладбище (мама! где Сорбонна, где отец, где отныне твоя могила) – после похорон оцепеневшей Ирине Михайловне надо было решать что-то с Сонечкой. Были, были ясли от комбината, да черт бы их побрал эти ясли. Ребенка жалко.

Тут предложила услуги соседка, Кондакова. Она работала телефонисткой на почтамте, дежурила через двое суток на трети и готова была посидеть с ребенком. Недешево, конечно, бесплатно дураки сидят. Но выхода не было. В дни дежурств Кондаковой Ирина Михайловна приносила Сонечку в санчасть, и та ползала в ординаторской сама по себе, заползала в углы, доверчиво оставляя там лужи.

Нет, с Сонечкой надо было что-то решать. Да и по хозяйству ничего не успевала Ирина Михайловна. После работы Сонечке кашку сварит, а о себе уже и думать некогда. Простирнет то-другое, а убрать уже и сил нет. В доме стало запущенно, под шкафом пыль каталась. Мама, мама.

Словом, необходим был человек в доме. Где, спрашивается, в этом городишке взять человека?

Из года в год комбинат заглатывал, перемалывал, переваривал сотни заключенных из близрасположенного лагеря, пленных японцев, ну и конечно, вольнонаемных рабочих.

Любка была вольнонаемной...

Вечером она явилась все в той же линялой кофте – ни чемодана, ни узелка. От нее веяло гордой бездомностью. Привалилась плечом к стенке в коридоре и сказала:

– Я сегодня к ребенку не подойду. Здесь, в прихожей, лягу. Киньте какое старое одеяло на пол.

Недоумевающая Ирина Михайловна подчинилась. Как выяснилось в дальнейшем, Любка умела распределять интонацию во фразе так, что исключались вопросы и уточнения. И жест еще делала рукой, легкий, отсылающий – мол, «а слов не надо».

Наутро, в воскресенье, Любка поднялась рано, потребовала керосину и часа три, запершись в ванной, мылась.

– Вшей выводит, – злорадно догадалась Кондакова. Уплывали от нее нянькины денежки, и это было ей чрезвычайно досадно. Она стояла у своего примуса, бодро помешивая ложкой кисель, и ждала событий. Кондакова была невеста среднепожилого возраста, с круглыми глазами цвета молочного тумана, с выщипанными, как куриная гузка, надбровьями, на которых она, слюнявя коричневый карандаш, каждое утро рисовала две острые, короткие, вразлет бровки.

Наконец Любка вышла – голая и парная, спросила чистую одежду, и, пока Ирина Михайловна копалась в шкафу, подбирая что-нибудь из своего скудного гардероба, Любка, обмотанная полотенцем, непринужденно тетешкалась на кухне с Сонечкой. Кондакова, делая вид, что

мешает в кастрюле кисель, косилась на Любкины босые, мраморной красоты ноги и пыталась прочесть наколку. Прочесть было нелегко, и Кондакова шурилась и клонилась к полу. Когда от любопытства она совсем загнулась коромыслом, Любка вдруг подняла ногу и ткнула ступню к лицу Кондаковой.

– На, читай, близорукая, – предложила она многообещающим голосом.

Кондакова подхватила кастрюлю и унеслась в свою комнату, где скрывалась до вечера.

А Любка облачилась в мягкое клетчатое платье, сшитое когда-то лучшей ташкентской портнихой для выпускного бала, и долго возилась у печки, не без удовольствия ворочая кочергой в огне топки пожившую зеленую кофту.

– И вот что, доктор... – ласково шурясь в танцующих бликах огня, проговорила Любка. – Вы моих денег мне не давайте... Складывайте где-нибудь... Чтоб я места не знала...

Она сразу взвалила на себя всю работу по дому. Скребла, стирала, кипятила, варила, возилась с малышкой – самозабвенно. В народе про такое говорят – пластается. Ирина Михайловна переживала, пыталась придержать ее – куда там! Просто, когда Ирина Михайловна возвращалась из санчасти, дом оказывался прибранным, обед приготовлен и укрыт старым маминым платком, ребенок накормлен и утомлен. Всего за два-три дня жизнь Ирины Михайловны задышала теплым ухоженным бытом, словно мама вернулась, и от этого по вечерам тоненько скулило сердце.

Недели через две, прихватив Любкин паспорт, она пошла в отделение милиции – прописывать домработницу.

Майор Степан Семеныч как в паспорт глянул, так откинулся в кресле и даже не сразу говорить начал, только тряс перед Ириной Михайловной раскрытым Любкиным паспортом.

– Ирина Михайловна! Что вы делаете?! – наконец крикнул майор. – Она же главарь банды, эта Любка, недавно срок отбыла!

И бросил паспорт на стол.

– А если она вас обворует?!

Ирина Михайловна села, посмотрела на майора, повертела в руках Любкин вполне обычный на вид паспорт, подумала о маме... Сильный человек мама всегда говорила: «К черту условности!» Девчоночьим жестом оправив юбку на коленях, Ирина Михайловна деликатно, пальчиком подвинула Любкин паспорт к майору и сказала виновато:

– Ну, обворует – я к вам приду...

Пока шла домой, мучительно размышляла, как себя с Любкой держать. Сказать бодро: все в порядке, Люба, я вам доверяю? Фу, пошлость! Главное, не выдать, до чего боязно засыпать в одной комнате с главарем банды.

В коридоре Ирина Михайловна разделась, на цыпочках прокралась к своей двери и приоткрыла ее. В комнате пели, тихо, заунывно. Любка сидела в темноте, спиной к двери, и мерно колыхала коляску. Узкий луч света из коридора полоснул ее меж лопаток и упал к ногам. Коляска кряхтела, потрескивала – кузов ее сплел из ивовых прутьев пленный японiec Такэтори, которого Ирина Михайловна выходила после перитонита. Коляска поскрипывала, и Любка влажным горловым звуком тянула странную колыбельную, принаравливая ее ритм к этому шороху и скрипу:

Чужой дя-а-дька обеща-ал
Моей ма-а-ме матерья-ал,
Он обма-а-нет мать твою-у,
Баю-ба-а-юшки баю-у.

Ирина Михайловна прикрыла дверь и почему-то все на цыпочках пошла на кухню. Там за своим столом сидела Кондакова и понуро тянула чай из пиалы вприкуску с желтым узбекским сахаром.

– Совсем меня с кухни потеснила! – пожаловалась она Ирине Михайловне, длинным шумным хлебком втягивая чай. – Целый день жарит-парит, ресторанное меню готовит... Грубая. Бандитка!

Ирина Михайловна устало подумала, что Кондакова, пожалуй, никогда еще не была так близка к истине. Раскутала кастрюлю, сняла крышку – и замерла, блаженно вдыхая аромат горячего горохового супа.

Словом не обмолвились – ни та ни другая. Будто Любкина биография началась в кабинете медкомиссии. Хотя на человека, скрывающего свое прошлое, Любка похожа не была.

– Вы, Ринмихална, денег в шкафу, в белье, не держите, – посоветовала однажды. – Нельзя так простодушно жить.

Ирина Михайловна растерялась, вспыхнула, возмутилась: неужели Любка в шкафу рылась?

– Я не рылась, – добавила Любка, словно услышав ее мысли. – Заметила, когда вы Кондаковой одалживали... А шкаф, да еще в белье, – первое для домушника место. С него начинают.

– Да какие у меня деньги, Люба!

– Тем более, – возразила та строго.

Незаметно выяснилось, что в жизни Любка разбирается лучше Ирины Михайловны и уж гораздо толковее обращается с деньгами: знает, на что и когда потратить, а когда и придержать. Само собой получилось, что на рынок выгодней посылать Любку.

Как-то прибежала, запыхавшись, бросила в коридоре кошелку с картошкой.

– Ринмихална! Гоните-ка восемьдесят рублей! Там старушка два стула продает! Сдохнуть можно! Графские! Ножки гнутые, лакированные! Я час торговалась.

– Люба, у нас же до зарплаты всего сотня осталась...

– Не жмитесь, выкрутимся!

...А стулья и вправду оказались чудом из прошлой, дореволюционной еще, жизни – с нежной шелковой обивкой: по лиловому полю кремовые цветочки завиваются – осколок какого-нибудь гамбсовского гарнитура, неведомо какою судьбой занесенный в захолустье азиатского городка. Стулья стояли теперь по обе стороны круглого стола с обшарпанными слоновьими ногами, девственно лиловели обивкой и напоминали двух юных фрейлин, случайно оказавшихся на постоялом дворе.

За вечер Любка сшила на них чехлы, протирала каждый день особой тряпкой изящные гнутые ножки и называла стулья не иначе как «мебель» («Какая мебель! – с нежностью. – Даром, даром!..»).

Аванс и получку Ирина Михайловна отдавала теперь Любке с огромным облегчением, как раньше – маме. Не надо было рассчитывать и раскладывать по полочкам, а потом, как бывало, тянуть последнюю тридцатку. Рассчитывала теперь Любка. И увлеченно – присядет на краешек стула, разбросает перед собою веером на столе небогатую получку Ирины Михайловны и, сосредоточенно шепча, долго передвигает туда-сюда бумажки, словно пасьянс раскладывает. И упаси боже отвлечь ее каким-нибудь невинным вопросом – например, зачем на примусе весь вечер суп кипит? – она еще и огрызнется:

– Да Ринмихална! Не дергайте меня, Христа ради, я ж считаю! Кипит – пусть кипит, авось не сдохнет!

И обязательно еще выгадает, спрячет десятку-другую в толстенный том «Гинекологии и акушерства», а в конце месяца торжественно выложит перед Ириной Михайловной: занавески покупаем.

– Люба, может, лучше боты?

– Боты в другой раз. Сейчас занавески. Живем как голые – у всех на виду...

Однажды под вечер ушла в магазин и часа три пропадала. Обеспокоенная Ирина Михайловна с Сонечкой на руках вышла на крыльцо и стояла там, вглядываясь в конец переулка. Наконец из топких сумерек на углу возникла Любка, легкая, веселая, чем-то страшно довольная. В каждой руке – по узбекской, с загнутыми острыми носами галоше.

– Люба!..

– Во! Пара – двугривенный! – всплывая из темени на крыльцо, Любка сунула к лицу Ирины Михайловны глянец отливающей галошу.

– Что это? Зачем?

– Как – что? Во! Пара – двугривенный! Один старый узбек продавал. Он, жук, что выдумал – все в кучу свалил, они, видать, все разные, брак какой-то. Огромная такая гора получилась. Хочешь пару – ползай подбирай. Зато двугривенный.

– Ну?..

– Что – ну?! Я часа три по шее в этих галошах... Там еще старухи копошились, но, кроме меня, никто не смог подобрать, – она соединила галоши подошвами, довольно пристукнула. – Во, почти одинаковые!

– Люба, а зачем нам галоши? – растерянно спросила Ирина Михайловна, и, по-видимому, что-то в ее лице поколебало светлую Любкину радость. Она задумалась на мгновение, пытаясь объяснить мотивы своей радости, и наконец сказала убежденно:

– Ну... Ринмихална! Пара – двугривенный! Жалко было не купить!

С пальто еще выдающийся случай был. Поскольку явилась Любка к Ирине Михайловне буквально в чем мать родила, а ростом и комплекцией они не очень различались, многое из вещей Ирины Михайловны естественным путем перешло к Любке. Возникли бреши в гардеробе. Что-то, конечно, можно было надевать по очереди, но надвигались холода, шел октябрь, и, например, без пальто, пусть демисезонного, никак не получалось выкрутиться.

Месяца два Любка вкладывала в «Гинекологию и акушерство» сэкономленные бумажки, томительно ожидала зарплату Ирины Михайловны... Наконец сухо объявила, что пальто, пожалуй, можно подыскивать. Тут и всплыла Кондакова со своею нутриевой шубой. То есть не то чтобы неожиданно всплыла – шуба-то ее была известной на почтамте и в окрестностях, приличная, с рыжеватой проседью, но продавать ее до сих пор Кондакова вроде не собиралась, а тут вдруг собралась и предложила недорого.

Ирина Михайловна померила, погляделась в длинное зеркало кондаковского шифоньера, долго размышлять ей показалось неловким, и – решила покупать. Но в тот момент, когда она уже и деньги отсчитывать собралась, грянула Любка, вернувшаяся из очередного похода на воскресный базар.

– Люба, вот шубу у Екатерины Федоровны покупаем, – сообщила Ирина Михайловна, – совсем недорого.

Свалив в коридоре кошелки, Любка отерла руки и твердо вошла к Кондаковой. Молча стянула с плеч Ирины Михайловны шубу, раскинула на руках, пощупала, дунула на мех.

– А вы, Ирина Михайловна, всегда теперь у домработницы спрашиваетесь позволения на покупки? – едко осведомилась Кондакова. Продолжая рассматривать шубу, Любка молча подняла брови. – Просто смех, и больше ничего... – добавила та, поскуцнев.

Любка вдруг ухватила горстью мех, рванула несильно, и – оказалась у нее под пальцами проплешина в шубе, а на пол облетали печально длинные волосы. Раз – и еще плешь. И еще.

Кондакова скандально взвизгнула и кинулась на Любку. Но та как-то не нарочно и слегка выставила локоть, и Кондакова, напорвшись на него, как на арматуру, крякнула и осела на кровать. Любка и краем глаза на нее не взглянула.

– Ну что ж вы, Ринмихална, как ребенок, в самом деле! – проговорила она, и досада слышалась в ее голосе, и жалость, и странная какая-то ласка. – Любая сволота вас облапошит. Шуба эта была когда-то шубой, не спору... А сейчас в ней только чертовы поминки справлять или вон обед греть...

Она вздохнула, скинула шубу на голову опавшей Кондаковой и вышла из комнаты.

– Значит, так, – сказала она, легким движением вытягивая из руки Ирины Михайловны тощую стопку сотенных. – Обед под платком. Там голубцы и борщ.

– Судиться!.. – Из комнаты Кондаковой неслись истерические вопли. – По закону!.. Порча имущества!..

Любка хладнокровно обвязалась платком:

– Белье замочено, нехай лежит до вечера...

...Вернулась она поздно, полководцем вернулась, одержавшим блестящую победу, усталым полководцем, увешанным трофеями.

– Ну вот, – проговорила Любка удовлетворенно, развязывая узел на тюке из цветастой полинялой тряпки. – Это не шуба, конечно, но вещь приличная, – и вытянула темно-синее драповое, с голубой атласной подкладкой, с маслянисто переливающимся цигейковым воротником, немислимой элегантности пальто. – Совсем новое. Примерьте.

Ирина Михайловна всплеснула руками, накинула пальто поверх халатика, оскальзываясь пальцами, застегнула пуговицы. Пальто сидело как родное, как давняя, на тебя только сшитая, на твоих плечах обношенная, согретая твоим теплом вещь. Любка ползала на корточках, обдергивая подол. Ирина Михайловна оглядела подол, рукава... Магазиной бирки не было видно... Вдруг страшная мысль поразила ее.

– Люба! – воскликнула она, в ужасе округлив глаза. – Откуда?!

Любка холодно вглянула на нее снизу, усмехнулась горькой такой усмешечкой.

– Да что это вы, Ирина Михайловна! Чтоб я в ваш дом легавых притащила?! Да век мне!.. – и осеклась вдруг, успокоилась. – Не бойтесь, носите. Это честное пальто... Тут к одному эку жена из Ленинграда приехала, у тетки Раи комнату сняла... Она приехала, а он уж доходит... Ну, она давай все с себя снимать. Кольцо продала, сережки, пальто вот... Я не торговалась, до копейки отдала... – И встрепенулась: – Но оно и стоит! Вон, овчина какая... играет-то!..

Осень прошла тихо, незаметно. Любка по-прежнему была деятельна и грозно-справедлива в стычках с Кондаковой. За осень Любка отогрелась, подкормилась, расправила плечи, налившиеся бархатным теплом, выяснилось, что овал лица у Любки от природы округлый, подбородок крутой, губы насмешливые. Выяснилось, что Любка, в сущности, совсем молоденькая девушка. И, пожалуй, лишь трезвый до жестокости взгляд серых глаз не позволял заподозрить в Любке идиллических намерений.

Осенью пошла девочка, пошла вдруг, отцепив пальчики от ивовых прутьев коляски, поковыляла на круглых ногах, тихо радуясь своему открытию. Теперь она телепалась за Любой на кухню, иногда шлепаясь на пол и подолгу трудолюбиво поднимаясь с четверенек. Осенью она и заговорила.

– Па-адла, – выпевая гласные, сообщила она как-то вечером изумленной матери.

– Правда, золотой мой, – энергично отозвалась Любка, – падла Кондакова.

– Го-овно, – добавила малышка, и в нежно-шепелявой, детской транскрипции этого слова слышалось нечто первородно-испанское, нечто романтически-звучное, пригодное, пожалуй, и для названия каравеллы.

С удивлением вдруг поймала себя Ирина Михайловна на том, что вечерами, за ужином, рассказывает Любке весь минувший рабочий день – час за часом. Любка хмуровато слушала, вдруг вставляя странные краткие замечания.

– ...а Мосельцова проходит мимо и небрежно так – ну, она элегантная женщина, это главное ее достоинство – говорит: «Что ж это вы, Ирина Михайловна, позволяете себе чужого больного без ведома лечащего врача отправлять на стол?» – «Позвольте, – говорю, – Зинаида Николаевна, у вас мальчик с острым животом три дня лежал... Да спросите Перечникова, – говорю, – у нас во время операции этот аппендикс в руках разлился...»

– Насчет Перечникова – напрасно, – вдруг прерывала Любка. – Она с ним спит.

– Кто? – оторопело спрашивала Ирина Михайловна, оставив ложку в тарелке.

– Ну кто – эта сука кудлатая, Мосельцова.

– Ой, Люба, а откуда вы взяли... У нас и вправду поговаривают...

Замелькали в Любкиных устах врачебные словечки, дотошно, аккуратно произносимые.

– Сегодня иду, а в магазине ситец выкинули, небесного тона – сдохнуть можно! У меня аж пульс участился: хватит – не хватит? Пока очередь доползла, думала, от тахикардии помру...

Осенью Сонечка болела воспалением легких. Любка это событие пережила как личную свою вину, ночами вскакивала послушать, дышит ли девочка, когда Ирина Михайловна делала укол, металась из угла в угол под густой Сонечкин рев. А один раз твердо, но вежливо сказала Кондаковой:

– У ребенка пневмония. Убедительно прошу в доме не курить... А то приблю.

В один из этих дней Ирина Михайловна, задержавшись в санчасти, опоздала к вечернему уколу.

Открыв ей, Любка спокойно заметила:

– Ну что вы запыхались, Ринмихална? Я уже все сделала.

– Что – все?! – Ирина Михайловна застыла в одном ботике.

– Что... укол! Да чего вы остолбенели-то? Я по всем правилам: кипятила, как вы, и с ваткой ампулу сломала, и за иголку не бралась... Она и не плакала даже. – И не без гордости добавила: – А у вас, между прочим, всегда плачет.

...Зимой, как обычно, подвалило работы – обморожения, эпидемии гриппа. Санчасть была полнехонька, лежали даже в коридорах.

Жесткий, с песочком ветер подраивал лицо до красной мякоти, трепал колкие, хвойные от иinea ветки. Крыши по утрам отливали алюминием.

Хотелось снега – глубокого, тихого снега. Но январь проходил пустым, сухим и холодным.

Утром, до обхода, медсестра Лена – перезревшая девушка со свисающими мешочком щеками, локтями, коленками, всегда бдительно-испуганная, всегда вырезающая для стенгазеты материал о международном положении – спросила вибрирующим шепотом:

– Ирина Михайловна! Вы «Правду» читали?

И сразу Ирина Михайловна ощутила прилив тошноты и спазм острого кишечного страха. Такого рода страх, сводящий внутренности, впервые испытала она пятнадцатилетней девочкой, в ночь, когда забрали отца – главврача госпиталя, хирурга, генерала – просто папу.

– Банду раскрыли, заговор врачей... – шептала Лена, оглядываясь на двери ординаторской. – Неужели «Правды» не читали? Статья «Убийцы в белых халатах»... Отравители...

– Нам «Правду» вечером приносят... – сказала Ирина Михайловна белыми губами. В животе было больно и пусто, непонятно даже, как эта пустота могла так болеть. – А... Фамилии?..

– Нерусские фамилии! – с жаром сообщила Лена, посмотрела на Ирину Михайловну и смешалась: – В основном... Перечников уже объявил: в три общее собрание всего персонала.

Главврач Перечников *эти* собрания проводил обычно вяловато, без гражданского темперамента. Но тут случай особый. Тут ужас профессиональной, белой окраски шелестел над головами небольшого коллектива медсанчасти. Рядом с Ириной Михайловной сидел фельдшер Коля Рожков. У него жена должна была родить с минуты на минуту – вторые сутки лежала в предродовой. У нее уже и воды отошли, а тут – собрание. Коля сидел с каменным лицом

и мелко-мелко похлестывал по пляшущему своему колену свернутой в трубочку «Правдой». Ирине Михайловне хотелось попросить у Коли газету, но что-то останавливало ее. Потом все равно зачитали.

Читала председатель месткома Мосельцова – педиатр, пышноволоосая яркая блондинка. Казалось невероятным, что у нее роман с главврачом Перечниковым. Перечников был сутулым скучным человеком с нелепым лицом, напоминающим штанину галифе, – одутловатые щеки, собранные внизу в длинный подбородок.

Мосельцова читала выразительно, с огоньком. После каждой фамилии врача-убийцы интонацией ставила восклицательный знак и делала небольшую, но значительную паузу, и тогда Ирине Михайловне казалось, что все смотрят в ее сторону.

В заключение Перечников скучным голосом промямлил обычное – о нарастающей борьбе классов, о бдительности каждого сознательного гражданина, о профессиональном долге врача. Как только он закончил, Коля, уронив на пол газету, расталкивая всех, кинулся в ридилку.

Ирина Михайловна дождалась, пока конференц-зал (небольшая комната, заставленная сколоченными в ряд фанерными стульями) опустеет, подобрала с пола «Правду», расправила и заметалась взглядом по страницам. Вот – «Убийцы в белых халатах» – сердце барахталось в мутной пучине страха.

– Вам что-то неясно, Ирина Михайловна?

В дверях стояла Мосельцова. Она красила губы, с удовольствием всматриваясь в маленькое круглое зеркальце.

Хороша была Мосельцова – красиво откинутаая золотоволосая головка с эффектной прической, полноватый, но подтянутый бюст. Хороша.

Она вымазала верхнюю губу о нижнюю, вытянула их бубликом – выражение лица стало детски трогательным, сюсюкающим.

– Мне ка-эт-ся, – быстрый промельк языка, – я доходчиво читала?

Напряжением воли заставив себя еще несколько мгновений молча рассматривать колеблющийся в руках газетный лист, Ирина Михайловна наконец свернула его и сунула в карман халата.

– Да, – сказала она, – вы были очень убедительны...

Мосельцова улыбнулась – почти доброжелательно.

– Может, какая-то фамилия знакомой показалась? У вас ведь, если не ошибаюсь, семья московская, врачебная?

Ирина Михайловна подалась к ней бледным внимательным лицом. Это проклятое, виноватое от природы выражение глаз! Как, как заставить себя быть непроницаемой? Мама умела оборвать таких, как Мосельцова, одним словом.

– Вы не ошибаетесь, – тихо проговорила Ирина Михайловна. – Но моя семья последние лет двадцать жила в Ташкенте.

Она прошла в дверях мимо Мосельцовой, и та сказала в спину:

– А вы напрасно не пользуетесь губной помадой... Это бы как-то расцветило вас...

...Когда Ирина Михайловна возвращалась домой, ветер вдруг унялся и пошел снег. Снежинки летели так тихо, так редко и потерянно, что казались случайно упущенными где-то в ведомстве небесной канцелярии; одна тщиалась догнать другую, другая – третью, но не завязывалось морозливой круговерти, и потому чудилось, что в стылом воздухе витают одиночество и напрасно прожитая жизнь...

Дома, едва отперев дверь, она услышала из кухни торжествующий голос Кондаковой. И секунды было достаточно, чтобы узнать текст *той* статьи, довольно, впрочем, своеобразно окрашенный неправильными ударениями и полным пренебрежением к знакам препинания.

Ирина Михайловна стояла в темноте коридора, в пальто, в ботах, слушая победный голос Кондаковой, ненужно громкий в их квартире, и представляла себе жутковатую картину: как, помирившись на почве патриотического гнева, Кондакова с Любкой изучают на кухне «Правду». Этакое домашнее коммунальное собрание – Кондакова читает, а Любка слушает, подперев голову и горестно кивая.

Она стояла в темноте коридора, мечтая о маме и в то же время страстно завидуя ее, маминому, неведению, забвению; проклиная себя за то, что родила на свет еще одну окаянную, вечно гонимую душу, еще одного изгоя. Эта маленькая душа спала сейчас, вероятно, в своей ивовой колыбели, и ради нее надо было сделать шаг, пройти по коридору, снять пальто и боты и – жить дальше, жить ради этой маленькой души, пока твою жизнь не возьмут в щепоть и не разотрут между пальцами, как пыльный комочек моли...

Любка домывала в комнате пол, заткнув подол платья за пояс, мелькая в сумерках высокими, античной стройности ногами.

– А... Ринмихална... – рассеянно пробормотала она, разогнувшись. – Куда вы в ботах по чистому!.. Стойте... – Она поставила табурет у двери, и Ирина Михайловна села, как подломилась. – Слыхали – на кухне? Старая курва сама себе доклад делает... Это она второй раз уже... Вон орет, чтоб мне слышно было... Я все жду, как по третьему кругу запоем, пойду ее на примус сажать...

Она крепко отжала тряпку и шлепнула у ног Ирины Михайловны:

– Натэ. Вытирайте.

– Люба... – медленно проговорила Ирина Михайловна мерзлым голосом, жестким настолько, что больно было говорить. – Люба... Вам, вероятно, следует уйти... от нас с Сонечкой...

Любка выпрямилась, одернула юбку, нехорошо пощурив глаза:

– Да? Это куда же? Чем не угодила-то? А? Ринмихална?

Та откинулась, почувствовав затылком прохладу стены, прикрыла веки.

– Дело в том, Люба... Может быть, вы не знали... Я ведь той же нации, что эти врачи... отравители.

– Да какие они отравители?! – глубоко воскликнула Любка. – Вы-то, Ринмихална, вы-то в своем уме?!

– Тихо, тихо, Люба!

– Мне-то уж вы не пойте, я не Кондакова, я в зоне таких отравителей ох сколько навидалась!

– Да погодите же, не в этом дело! – Ирина Михайловна страдальчески поморщилась. – Я говорю сейчас о том, что у меня вам небезопасно оставаться...

Любка еще мгновение смотрела на нее, не понимая, и вдруг захохотала – бесшабашно-весело, шлепая себя по коленям, по щекам, по животу.

– Мне! Мне опасно! Ой, не могу... Ой, насмешили, Ринмихална... – Она искренне веселилась. – Мне – опасно! Значит, не вам с моей уголовной рожей, а мне – с вами... Ох, ну дожились... Ну, умора... – И не сразу успокоилась.

Из кухни гремел голос Кондаковой – она заходила на третий круг.

– Репродуктором сделалась. Большое удобство, наш-то третью неделю молчит. Ну пойду на стенку повешу, чтоб ей задницей до точки дотянуться.

– Люба, умоляю!..

Но Любка настойчиво и вежливо придержала дверь, не пуская Ирину Михайловну.

– Вам туда не стоит, Ринмихална. – Движения мягкие, голос вкрадчивый, на жестком лице окаменевшие скулы. – Да не бойтесь, не забью суку.

Вышла и плотно прикрыла за собою дверь. Через минуту голос на кухне оборвался и наступила тишина – звонкая и такая прозрачная, что слышно стало, как сопит в коляске Сонечка.

Ирина Михайловна испугалась и приоткрыла дверь. Из кухни доброжелательно, тихо журчало:

– ...из тебя душонка соплями вытечет... – Кондакова как-то пискнула и зашуршала, затем резко двинули стулом, что-то шлепнулось, кто-то всхрапнул, и опять зажурчало приветливо: – ...еще разочек... нехороший взгляд... ты у меня ползком вокруг собственной жопы ползать будешь... Настучишь – хорошие люди в могиле достанут...

Весь этот монолог, как ягоды листочками в корзине, был пересыпан отборнейшим, великолепным многоступенчатым матом, открывающим такой простор воображению Кондаковой, что дух захватывало. Ирина Михайловна даже не подозревала, что можно составлять такие сложные художественные конструкции из столь примитивных элементов.

...На другое утро, во время обхода, Крюков из третьей палаты, сцепщик Крюков, сдавленный и переломанный вагонами, вытянутый Ириной Михайловной с того света, Крюков, называвший Ирину Михайловну «девочка-доктор» и не забывавший при этом добавить «дай ей Бог здоровья», сцепщик Крюков заявил, что с сегодняшнего дня не желает подставляться шпионским наймитам для опытов над людьми. Ни уколов, ни капельницы делать не даст, так и запомните.

Медсестра Лена как стояла со штативом в руках и бутылью физраствора, так и обмерла, затряслись все ее мешочки – щеки, локотки, колени...

– Кому? – переспросила Ирина Михайловна, чувствуя на лице пульсирующий румянец. – Кому подставляться, Сергей Иванович, – наймитам?

Палата – пятнадцать коек тяжелых и среднетяжелых – зловеще примолкла, глядя кто куда. Румянец медленно сползал со щек Ирины Михайловны. Она спросила тихо и внятно:

– Кто еще отказывается лечиться у шпионского наймита?

Молчали, только бухгалтер стройконторы Дрынищин на крайней у двери койке шевельнулся и тенорком:

– А что же, ждать, пока перетравите всех к чертям собачьим?..

Ирина Михайловна вышла из палаты и по коридору, заставленному койками, побежала в ординаторскую, страстно надеясь, что сейчас, во время обхода, там пусто и можно выплакаться над умывальником и умыться холодной водой. Но шагов за десять услышала голоса, одновременно возбужденные и придавленные:

– ...дело в профессиональной этике!

– Бросьте сиропить, какая там этика! – Это был голос Мосельцовой. – Вот погодите, состряпают больные бумагу за рядом подписей да пошлют куда следует, и вы с вашей профессиональной этикой... Весь коллектив пострадает из-за одной паршивой овцы. Думаете, народ проведешь? Фамилия у нее типичная, да и внешность... ярко выраженная...

Ирина Михайловна повернулась и пошла прочь. Какая-то бабка позвала жалобно с койки: «Дочка, а дочка...» – она не обернулась, и потом долго эта бабка звала ее в снах, а она не оборачивалась...

Пальто осталось в ординаторской. Черт с ним, с пальто. До дома минут десять бегом.

В их пустынном переулке плавал тот редкий, пасмурно-спокойный теплый свет, какой бывает обычно в просторной комнате с высокими окнами. (Смутное воспоминание детства – высокие окна московской квартиры...) Узкое длинное небо над переулком казалось серым, давно не мытым стеклом огромной теплицы.

И тут за спиной истошно крикнули:

– Ир-р-ра-а-а!! – Мученический вопль полоснул ее, отбросил к стене дома взрывной волной боли. Это был папин голос. Это папа крикнул истошно, явно:

– Ира!!

Колени ее мелко дрожали, пот побежал по ледяной спине. Не в силах глотнуть воздуха парализованно открытым ртом, она обернулась. На углу переулочка трое рабочих в черных ватниках ремонтировали дом. Тот, что внизу, еще раз зычно крикнул:

– Вир-ра! – И те, на крыше, взялись за тросы и потянули корыто вверх.

Ирина Михайловна постояла еще с минуту на подсекающихся ногах, наконец побрела к дому.

Любка, открыв, увидела ее и ахнула:

– Пальто стырили?!

Ирина Михайловна мотнула головой, хотела что-то сказать, но Любка вдруг накренилась вместе с полом, задрезжала, как холодец, и, обморочно закатив глаза, Ирина Михайловна повалилась на Любку окоченевшим телом...

Весь вечер она лежала заботливо придавленная двумя одеялами и сверху еще старым маминым пальто, дрожала и слушала, как за окном ветер треплет бельевую веревку и прищепки трещат, как кастаньеты. Может быть, поэтому не сразу различила стук в окно – тихий, деликатный. Она вскочила и бросилась к окну: на присыпанной снежком земле топтался Перечников и что-то говорил через стекло. Она толкнула форточку и услышала:

– На два слова...

Стоял Перечников, наверное, минут уже десять, потому что слой хрупкого сыпучего снежка был оттопан до черноты. С локтя его свисала длинная крупнодырчатая авоська с синим тюком внутри. Ирина Михайловна накинула на плечи мамин платок, выскочила и обежала дом:

– Федор Николаевич, что случилось?

– Да ничего, не пугайтесь... – пробормотал он, бросая окурок. – Вы не пугайтесь. Вы пальто сегодня забыли, я вот принес, так как холода... и... Тут разговор у меня с вами некоторый... Черт, даже не знаю, с какого конца...

– Может быть, в дом зайдете?

– Нет-нет! – Он встрепенулся, поднял воротник пальто. – И пожалуйста, мил-человек Ирина Михайловна, чтоб о разговоре этом ни друг, ни сват, ни соседская курица.

Лицо его под теплой ушанкой выглядело совсем нелепо, одутловатые щеки рдели на морозе, нос беспокойно пошмыгивал. То и дело он оборачивался на мусорную свалку у забора, там длинными синими тенями носились коты.

– Пальтишко у вас легкое такое. Да вы наденьте-то, господи! Ну, чтоб уж долго вас на холоде не держать... – Он достал платок, затеребил нос. – Вы у нас не доработали по распределению год, кажется, с копейками?.. Так вот, Ирина Михайловна, давайте-ка мы изобретем какое-нибудь уважительное состояние здоровья и тихо-мирно, по собственному желанию отпустим вас в Ташкент, в столицу, из этой нашей тмутаракани...

Ирина Михайловна смотрела на Перечникова, видела его красную, замерзшую руку, комкавшую платок. Пришел тайком, вызвал к мусорке «на два слова»... Сочувствует он ей, что ли?

Она надела мягкое пальто и сказала:

– Видите ли, Федор Николаевич, в Ташкент мне ехать незачем. У меня там, кроме дряхлой тетки, никого. И на работу, как вы сами знаете, никто меня сейчас не возьмет. Вы человек не наивный и понимаете, что в Ташкенте сейчас вакханалия почище, чем у нас. К тому же бывают времена, когда в тмутаракани легче выжить, чем в столицах... Спасибо, что хотите избавить меня от скандала. Я понимаю, что персонаж с моей фамилией вам сейчас крайне неудобен...

– Ирина Михайловна, голубчик, – Перечников даже застонал, – умоляю, только не надо пошлостей! Меня-то уж вам незачем обижать. Как видите, пришел к вам... Я всегда... С большим уважением... По моему мнению, вы прекрасный диагност, это, знаете ли, от бога. Ну что делать, раз такие времена!.. – Он бормотал, схватив ее руку своей жесткой, застывшей

рукой. – Пришли, ввалились в кабинет... Коллективное, понимаете ли, заявление. Изволь реагировать... Разбираться... А может, и сообщать куда следует... Мосельцова какой-то бред несет... Каким-то вы там крымским татарам сочувствуете вслух... Тошнит, но изволь... положение обязывает...

«Ну вот, а говорили, что с Мосельцовой у него роман, – рассеянно подумалось Ирине Михайловне. – Почему – татарам?.. Кажется, японцы удобнее, толковее. Татарского шпиона – что-то я такое еще не слышала...»

– Не пренебрегайте опасностью, Ирина Михайловна... Не пренебрегайте... Ведь я, по меньшей мере, уволить вас обязан!

– Увольняйте, – сказала она. – Мне отсюда бежать некуда.

Минут пять еще Перечников говорил что-то виновато-настойчивым тоном, но, поняв, что она не слушает, заглянул в ее глаза, вдруг поразившие его неконкретной, вневременной тоской, махнул рукой и пошел. Но, отойдя шагов на десять, вдруг вернулся торопливо и вполголоса спросил:

– К Исмаилову в стройконтору пойдете уборщицей – попробую договориться?

– Пойду, – ответила она безразличными губами...

Перечников слегка подволакивал левую ногу, словно волочил за собой тяжелое ядро черной тени. Ирина Михайловна глядела, как тащит он по снегу свою съезженную тень, и не могла понять, что, собственно, смешного находила она прежде в этом человеке?

Вернувшись в дом, она долго молчала, слушая уже ставшую привычной колыбельную, которую полупела-полумычала Любка, потом сказала задумчиво:

– Если со мною что-то случится, Люба, отвезете Сонечку в Ташкент, к моей тетке. Я адрес напишу...

Чужой дя-а-дька обеща-ал
Моей ма-а-ме матерья-ал...

– Еще чего, повезу я ребенка хрен знает кому... – буркнула себе Любка. – Как-нибудь уж... Сама не калечная...

Он обма-а-нет мать твою-у...
Баю-ба-а-юшки баю-у...

...В эту ночь сумбурным шепотом с самодельного топчана в углу комнаты Любка в подробностях рассказала свою жизнь. Последняя преграда между ними, возведенная воспитанием, образованием, жизнью, рухнула. Пария открывалась парии.

Своих настоящих родителей Любка помнила смутно, смазанно, как на давнем любительском снимке, знала только, что семью их раскулачили и выслали в Сибирь, что по дороге от голода умерли двое старших, братья Андрей и Мишка, а двухлетнюю Любку отчаявшаяся мать отдала на станции под Семипалатинском чете профессиональных воров – бездетной Катьке приглянулась синеглазенькая прозрачная девчонка, и за нее отвалили раскулаченным буханку хлеба, три селедки, головку чеснока и большой кусок мыла.

Так Любка была спасена – и обречена.

Уже через полгода она артистически проникала в форточки, шныряла на вокзалах («тетенька, я потерялась, хочу в туалет...») – за спиной сердобольной тетеньки уплывали сумки и чемоданы), кланчила в поездах, изображая сироту, и так далее. Справедливости ради следует заметить, что и стареющая Катька, и виртуоз домущник Штыря по-своему любили девчонку; не обижали (пальцем не тронули! – с гордостью уточнила Любка) и время от времени, спохватясь, даже посылали в школу. Но характер у Любки вырисовывался лютый, никто ей был

не указ и не начальник, и уже лет в пятнадцать она позволяла себе прикрикнуть на добряка алкоголика Штырю, а Катке указать ее законное место – в заднице.

Поэтому, когда Штырю однажды после длительной пьянки хватил кондрашка и он, распластаный и мычащий, остался на Каткиных руках помирать и пачкать, Любка спокойно и властно взяла «дело» на себя. И ей подчинились – и Канава, и Чекушка, и Котик с Пыльным.

– Потому что я башковитая, – объяснила Любка страстным шепотом. – У меня ж в голове сразу весь план «дела», чтоб толково и чисто, а они – что? Грабануть, толкануть, нажраться и сесть лет на семь. Из-за этих козлов драных и я загремела...

Когда наконец она умолкла, Ирина Михайловна приподнялась на локте и сказала в сгущенную темноту угла, где на топчане лежала Любка, главарь банды:

– Вы человек талантливый, Люба, сильный. Вот переживем, бог даст, весь этот бред, уедем в Ташкент, определяю вас в вечернюю школу. А потом – в медучилище, у меня там сокурсница работает... Я из вас сделаю... – чуть было не сорвалось «человека», она запнулась, покраснела в темноте и сказала твердо: – Медсестру...

Исмаилов уборщицей взял. Но не Ирину Михайловну, а... Любку. Та, узнав, кем устраивается после увольнения Ирина Михайловна, разразилась дома настоящей бурей.

– Шваброй шкрябать?! – грозно вскрикивала она перед растерянной Ириной Михайловной. – Той кудлатой суке тряпки под ноги расстилать?!

– Люба, при чем тут Мосельцова, это же стройконтора, совсем другое здание.

– Та чтоб я сдохла, если хоть раз хоть где вас с ведром увидят!

Любка была страшна, возражений не слушала, искрила глазами. Назавтра она пошла сама к Исмаилову, дело было вмиг улажено, и Любка влилась в коллектив стройконторы.

Теперь Ирина Михайловна сидела дома, жарила картошку и с сиротливым нетерпением ждала Любку домой. Помешивая кашу, она иногда с горькой усмешкой думала, что, в сущности, это даже очень смешно, и если в хорошей компании, со вкусом, с юмором рассказать, как стала она Любкиной домработницей, причем безрукой и никчемной домработницей... Выходной, что ли, вытребовать у Любки, отпускные?.. Отец умел рассказывать такие истории, даже и не выдумывая, лишь выбирая те или иные разрозненные происшествия и ставя их в смехотворно нелепое соседство... Словом, дело оставалось лишь за хорошей компанией.

Дважды за эти недели к окну в темноте прокрадывался Перечников и молча, ловко, как баскетбольный мяч в корзину, вбрасывал в форточку скомканные тридцатки. Ирина Михайловна пыталась вернуть их тем же путем, но Перечников, выпучив глаза и смешно отмахиваясь ладонями, торопливо удалялся, волоча за собою по снегу съезженную черную тень.

К марту скудный снег сошел, но холодный ветер так же неумолчно трещал за окном прищепками, гнул и ломал прутьики тополей на пустыре. Дни стояли голые, весенне-сквозные – неприятные дни...

Вечером приходила вымотанная Любка, набрасывалась на пережаренную или полусырую картошку, рассказывала вполголоса:

– Радиоточку не выключают дня два уже. Как сводку о здоровье передают – все обмирают, и такая тишина – слышать, как по бумаге ластик шуршит.

Ирина Михайловна слушала, нервно переплетя тонкие, врачебные – с коротко и кругло подстриженными ногтями – пальцы, и ускользала взглядом за окно, на пустырь с помойками.

В одну из таких минут Любка вдруг перестала жевать, спросила, глядя ей в глаза:

– Ринмихална! А вы все молчите, молчите... Вы же врач... Ну скажите – неужели выживет?

Ирина Михайловна даже дернулась, метнула затравленный взгляд на дверь Кондаковой и тоже, глядя Любке в глаза, отчеканила шепотом:

– Не болтайте-ка, Любовь Никитична!

Как-то днем Ирина Михайловна уложила Сонечку и села штопать чулки.

Вдруг грохнула входная дверь, пробежали по коридору... Ворвалась в комнату Любка. Ирина Михайловна вскинула на нее глаза, ставшие вдруг сухими, проваленными, страшными. Она молчала.

И Любка молчала, сжав кулаки, глядя перед собою со странным выражением вдохновенной ненависти. Так, может быть, смотрит кровник, только что убивший заклятого врага семьи.

– Боже мой... – прошептала Ирина Михайловна.

– Подох! – коротко выдохнула Любка.

Ирина Михайловна швырнула чулки и заплакала. Любка кинулась к ней, стиснула в свирепых объятиях.

– Люба... тише... нехорошо... – шептала, всхлипывая, Ирина Михайловна. – Нельзя так... говорить...

– Можно, можно! – торжествующе грозно повторяла Любка. – Подох, подох! Сдохла рябая собака!

...Весь этот вечер в своей комнате тягуче рыдала Кондакова. Вышла на минуту на кухню – чайник вскипятить – опухшая, старая, со смазанными бровями. Взыла несколько раз над закипающим чайником.

– Ну надо же, – сказала Любка не без уважения, – как горевать умеет... Ринмихална, я что думаю: а ведь многие, пожалуй, по стране сегодня вот так воют?..

– Многие, Люба, – серьезно ответила Ирина Михайловна.

К концу апреля нахлынуло из пустыни тепло, песок просох от дождей, вихрился на ветру воронками, сбивал алые трепещущие лепестки маков на саманных крышах домишек. Млели на солнце крохотные серые ящерки.

Ирина Михайловна была восстановлена на работе в санчасти, Любка – в своих кухонных правах.

К концу апреля она заскучала.

Вечером, накануне Первомая, сидела у окна, поглядывая, как на домике милиции вывешивают флаг, и молчала. Сонечка безуспешно зывала о горшке, потом от безнадежности надула в штаны. Любка рассеянно передела ее в сухое и уж до ночи не поднялась с табурета перед окном, мрачно упершись взглядом в черное, фальшиво-бриллиантовое небо.

Утром, причесавшись под гремящие отовсюду марши, она сказала:

– Ринмихална, дайте денег. Пойду погуляю.

И сказано это было тем самым, исключаящим вопросы и уточнения тоном.

Ирина Михайловна пожала плечами: где в этом городишке Любка собирается «гулять»? – но деньги отдала почти все. Гуляйте, Любовь Никитична.

Любка ушла и – пропала.

День прошел – нет Любки, два – нет, три... Ирина Михайловна извелась, но что-то удерживало ее заявить в милицию, Любка не одобрила бы этого шага.

Поздним вечером на третьи сутки (Ирина Михайловна уже легла и даже беспокойно задремала) в дверь легонько стукнули. Сквозь дрему узнавшая легкий этот стук, Ирина Михайловна вскочила, босая пробежала по коридору, отворила дверь и – ахнула.

На пороге, мерцая лунным испитым лицом, стояла Любка в немыслимо шикарном, с блестками, платье, только что, казалось, содранном с опереточной примадонны. Глубокий, как обморок, вырез клином сходился на животе, стиснутая с боков грудь выпирала в центре грудной клетки двумя литыми полукружьями.

Млечный Путь вздымался над шальной Любкиной башкой и упирался в бесконечность. Темное азийское небо тяжело провисало, колыхаясь и клубясь бесчисленными мирами звезд...

Надо всем этим вдруг почудились Ирине Михайловне драматические переливы меццо-сопрано, что-нибудь такое из «Риголетто», что ли... Вся картина казалась продолжением сна. И в этом лунном, зыбком, знобком сне Любка торжественно и полно отвесила ошалевшей Ирине Михайловне земной поклон и сказала звучным трезвым голосом:

– Ирина Михайловна! Спасибо вам за все... Держали меня, грели, шкафов не запирали, «вы» говорили. Я вас до смерти не забуду... А сейчас дайте мой паспорт, я уйду... – и по своему так рукой махнула, мол, а слов не надо...

Ирина Михайловна, сдавленным сердцем чуя, что та погибла, все еще лунатически двигаясь, достала из шкафа Любкин паспорт, протянула. Любка поцеловала спящую Сонечку и вышла на порог. На нижней ступеньке крыльца она цепко взяла Ирину Михайловну за плечи, молча, долго смотрела на нее, прощаясь. Вдруг они подались друг к другу, обнялись. Ирина Михайловна заплакала. Любка повернулась и пошла.

– Люба! – дрожащим голосом окликнула Ирина Михайловна. Ее колотил озноб. – Любовь Никитична!

Любка обернулась, опереточно переливаясь в темноте блестками:

– А дом теперь можете совсем не запирасть. За ним мои ребята приглядывают... И не ищите вы меня, Христа ради. Не марайте себя этим гнусным знакомством...

...Темное азийское небо тяжело провисало, колыхаясь и клубясь бесчисленными мирами звезд. Жизнь текла, не останавливаясь ни на мгновение. Невесть откуда взявшееся меццо-сопрано с тоской оплакивало эту жизнь, эту темень, этот городок – нелепый нарост на краю пустыни, людей, зачем-то живущих здесь...

Любка сгнула во тьме теплой ночи. В тот год ей исполнилось двадцать три. Хозяйка ее была чуть моложе.

Словом, Любка села. Добрейший майор Степан Семеныч не без укоризны в голосе сообщил совершенно убитой всей историей Ирине Михайловне, что Любка со товарищи обокрали в Ташкенте Академический театр оперы и балета (вот оно, платье-то с блестками! Вот они, пророческие трели меццо-сопрано!). Мало – всю буфетную выручку взяли, так набедокурили, набезобразничали в реквизитной. Сторожа оглоушили и на прощание бессознательного старичка обрядили в костюм Спящей красавицы и – во гроб хрустальный, реквизитный, где он и качался на цепях до приезда опергруппы. Короче – ужас... Вот как вы рисковали-то, Ирина Михайловна... Страшно подумать, какой опасности вы подвергали себя и своего ребенка...

Сонечку пришлось определить в ясли. Впрочем, Ирина Михайловна недолго задержалась в городишке. Отработала оставшиеся год с копейками и уехала в Ташкент. Тетка еще жива была, приняла, прописала.

Появился вдруг Сонечкин отец, все еще связанный семьею, виноватый во все стороны перед детьми, но горевший желанием помочь всем, любить всех, облегчать как-то жизнь.

В первое же лето достал путевки в Сочи, и Ирина Михайловна ради ребенка спрятала гордость в сумочку, смирилась, повезла Сонечку на море. Вернулись они коричневые, обе в веснушках, обе носатые, веселые, в сарафанах. Появились у Ирины Михайловны бежевый китайский плащ в талию, губная помада, пудреница, духи «Красная Москва». Жизнь постепенно набирала вкус, смысл и краски...

Лет через семь Ирину Михайловну разыскал Перечников, приехавший в Ташкент на курсы повышения квалификации. Ирина Михайловна тогда уже заведовала терапевтическим отделением крупной инфекционной больницы.

Перечников не изменился, опять показался ей немножко смешным, особенно когда откашливался в кулак, – тогда щеки его надувались и еще больше напоминали штанину галифе. Он долго, подробно рассказывал о городке, который разросся (не узнаете!), об укрупненной санчасти, о знакомых... Он говорил, и все это представлялось Ирине Михайловне таким далеким, захолустным, чужим, словно и не было там прожито три тяжелейших года.

– А вы, Ирина Михайловна, не подозреваете, какую роль в моей жизни сыграли, – вдруг сказал Перечников, смущенно улыбаясь. – Помните, конечно, Мосельцову? Мы ведь с нею уже и расписаться должны были, а тут эта ваша история, в пятьдесят втором... И вот как человек проявляется – это я о Мосельцовой... Так она мне противна стала – глаза б не глядели. И все! – он засмеялся. – Больше уж не рискнул менять холостяцкую долю...

Уже надевая в прихожей новые китайские туфли, Перечников спохватился и достал сложенную вдвое, махровую на сгибе поздравительную открытку.

– Чуть не забыл! Держу года четыре, специально для повода – увидиться... Вот, пришла на адрес санчасти. Там ничего особенного. Поздравление.

Ирина Михайловна взяла в руки мятую открытку, и вдруг – приблизилось, налетело, навалилось все: скрип ивовой коляски, кастаньетное щелканье прищепок за окном, холодные ветры и:

Чужой дя-а-дька обеща-ал
Моей ма-а-аме матерья-ал...

«Дорогие Ирина Михайловна и Сонечка! – написано было крупно, размашисто и – что удивило – грамотно. – Поздравляем вас с праздником Восьмого марта, желаем...» Ну и так далее, как положено, – со здоровьем, счастьем, со всем необходимым человеку. И подпись: Люба и Валентин...

Ни адреса, ни намека, где искать. Что за характер!.. Весь вечер Ирина Михайловна слонялась по дому сама не своя. Наконец взялась гладить тюк белья, недели две ожидающий своей очереди. Катала тяжелый утюг по глади пододеяльника, вспоминала, вспоминала: скрип ивовой колыбели, сплетенной японцем Такэтори, две почти одинаковые узбекские галоши – пара двугривенный, лысеющую кондаковскую шубу... Подумала: надо в каникулы съездить с Соней на мамину могилу. Соня два раза спрашивала из-под одеяла:

– Мам, ты чего?

– Ничего...

...Скрип коляски, черное азийское небо над двумя девочками, безнадежно обнявшимися у края ночи, на нижней ступени крыльца. И –

Чужой дя-а-дька обеща-ал...
Моей ма-а-аме матерья-ал...

Что за характер! Ни адреса, ни намека, где искать...

Он обма-а-нет мать твою-у...
Баю-ба-аюшки баю-у...
Баю-ба-а-юшки баю-у...

Баргузин

Маргарите Черной

Имя такое – Баргузин – вы, конечно, слышали? «Эй, баргузин, пошевеливай вал!» – это из песни; помните, в романе «Мастер и Маргарита» ее под управлением черта поет хор советских чиновников?

В песне имеется в виду могучий байкальский ветер, предвестник солнечной погоды. А есть еще река Баргузин, впадающая в Байкал, – места все на редкость живописные...

Но мало кто знает, что это и название старинного поселения на берегу реки, которое в середине семнадцатого века возникло как казацкий острог. Там родилась моя мама (хотела пошутить: «в остроге», да удержалась, а зря: настоящим острогом ее жизнь там и была). Но я забегая...

Городок, значит, крошечный, одно название, вокруг на необозримые версты исконно местное население – буряты и орочи, всё отменные охотники и рыболовы. Можете вообразить, сколько зверья в тех лесах водилось: красный волк, манул, снежный барс, а главное, знаменитый баргузинский соболь; в реке и в озере полно нерпы да почти вымершего ныне омуля.

А сейчас – не возражаете? – чуток истории, вам не слишком известной. В первой половине девятнадцатого века Баргузин стал местом ссылки политических и неблагонадежных, короче, тех, кто представлял угрозу «устоям общества». Ну и бывших каторжан там поселяли, дальше ведь некуда, дальше – Китай. Чуть не первыми ссыльными были братья Кюхельбекеры; старший так и похоронен на Баргузинском кладбище.

И вот уж не знаю, по какой причине, но именно Баргузин стал местом ссылки многих опальных евреев.

Эти поселенцы, в основе своей образованная интеллигенция, оказавшись во власти здешних ледяных ветров, вынуждены были приняться за натуральное хозяйство да торговлю – как-то надо было выживать! И по мере освоения ими этих мест, а также с притоком населения городок расширялся и оживлялся неимоверно, ибо, помимо пушнины и соленого омуля, источником прибыли стали... правильно, золотые прииски!

Время шло, с годами стихийные торговые операции баргузинских перекупщиков и лабазников приобретали все более цивилизованные формы товарообмена, так что, несмотря на труднодоступность этого поистине медвежьего угла, к концу девятнадцатого века блеск золотых самородков привлек в Баргузин даже ушлых китайцев.

Странно, знаете ли... Вот я задумалась сейчас: русские поселенцы в городке надолго не оседали, уж и не знаю почему. Но факт остается фактом: «во глубине сибирских руд», в местечке, окруженном высоченными скалами Баргузинского хребта, на живописных берегах реки, берущей начало в отрогах лесистых гор, сложился такой вот своеобразный бурято-еврейско-китайский интернационал. И, знаете, вполне гармонично сложился. Может, природа этой «сибирской Швейцарии», с ее суровыми буранными зимами и обжигающе коротким летом способствовала гармонии такого необычного буддийско-иудейского симбиоза?

По воспоминаниям моей матери (к рассказу о жизни которой я скоро подберусь), жил этот «Вавилон в миниатюре» трудно, но дружно, во взаимовыручке и взаимоподдержке. Кстати, от матушки досталось мне в наследство материальное подтверждение еврейско-китайской кооперации тех времен – распавшееся на две половинки «безразмерное» золотое кольцо с драконом. «Потому и развалилось, – говорила она, – что беспримесное золото очень хрупкое».

Кольцо было заказано дедом для красавицы жены и сработано китайцем-ювелиром из золотого самородка, найденного на берегу реки кем-то из Майзелей самолично.

Вот мы и прикатились к моим таёжным предкам...

Первый баргузинский Майзель, с классическим именем Абрам, появился здесь во второй половине (если не в середине) девятнадцатого века. Семейная легенда всегда уклончива, но что у нас есть, кроме обрывочных сведений, поставляемых памятью предыдущих поколений? Так вот, по семейной легенде, Абрам Майзель, человек необузданного нрава, в молодости был замешан в политических беспорядках то ли в Польше, то ли в Германии, из-за чего был вынужден бежать в Россию – или бегать по России – выбирайте, что больше нравится. Но безудержный размах окаянной души привел-таки его в лоно народовольчества, и можно только догадываться, что совершил или по крайней мере замыслил этот неистовый человек, если в результате был закован в кандалы и отправлен по этапу в Сибирь.

История о кандалах и этапе даже печаталась в газете. Была ли это «Правда», «Сибирская правда» или «Баргузинская правда» (как и была ли это правда вообще) – припомнить не могу. Помню только мятую, полузатертую на сгибах страницу, которую довелось держать в руках. Давно это было, в подростковом возрасте, когда человеку плевать на историю семьи, корни рода и прочие стариковские глупости; так что содержание статьи из памяти улетучилось. Но вот портрет легендарного прародителя – «рэволюционэра», восстановленный по старинной фотографии (из этапных сопроводительных документов?), впечатлил на всю жизнь. С пожелтевшей газетной страницы на меня сурово смотрела совершенно разбойничья, даже зверская физиономия прадеда Абрама: свирепый взор из-под кустистых бровей, сходящихся на переносице орлиного носа, растрепанная борода... Насколько удалось мне позже выяснить, «политических» в кандалы не заковывали, а уж кандалы по всему этапу были уделом особо отъявленных головорезов. Так что склонна я думать, что в Баргузине прадед появился, выйдя на поселение с каторги. А уж за что на каторгу угодил... хотела бы я знать!

Что собой представлял Баргузин в годы, когда там нарисовался мой разбойничий предок? Словно какой-то магнит свободомыслия притягивал разномастных «ниспровергателей» к тем глухим таежным местам! По окрестным лесам там еще Кропоткин хаживал – будучи молодым офицером, участвовал в геологических экспедициях.

В конце девятнадцатого века в Баргузине уже проживало немало «политических» евреев, в том числе «бабушка русской революции» Брешко-Брешковская, впоследствии совершившая дерзкий, но неудавшийся побег. Поселилось здесь и разрослось высланное из Одессы семейство знаменитого талмудиста Новомейского, чей сын развернул золотодобычу во впечатляющих масштабах. Он владел несколькими приисками и неустанно стремился внедрить на них прогрессивные по тем временам технологии: даже отправил своего сына Моше учиться горному делу в один из лучших университетов Германии.

Но тут подоспела революция, национализировав все сибирские прииски и предприятия Новомейских, так что Моше, о котором в нашей семье поминали всегда с большим пиететом, бросив весь свой бизнес, включая первую в Сибири промышленную драгу, с большим трудом и хлопотами перевезенную из Англии, очень вовремя, в 1920 году перебрался с семьей туда, где жарче, но поспокойнее – в Палестину. Да, вы правы: это тот самый Моше Новомейский, основатель химической промышленности Израиля, который, еще учась в Германии, увлекся идеей освоения минеральных чудес Мертвого моря.

Но вернусь к родне. Неудивительно, что при таком количестве «рэволюционэров» на душу всего лишь трехтысячного населения, к семьям ссыльных в Баргузине относились с уважением. Может, поэтому в основу семейной легенды баргузинских Майзелей и была положена «политическая» версия, которая потом, при советской власти, пришлось очень кстати, хотя от раскулачивания не уберегла.

Итак, возникнув «на карте местности», мой предок, бывший каторжник Абрам, огляделся, обустроился, основал крепкое хозяйство и, несмотря на устрашающе свирепый вид,

женился на милой еврейской девушке, которая за короткий срок нарожала ему кучу детей, целый взвод крепких, жилистых и своенравных Майзелей – в том числе моего деда Александра.

Сам прадед Абрам Майзель протянул не слишком долго, – видимо, годы каторги свое взяли, а вот жена его прожила на диво долгую жизнь, сохранила хозяйство, подняла детей, пережила раскулачивание, ужасы Гражданской войны, в которую затянуло и перемололо почти всех ее сыновей, и хотя ослепла, оплакивая шесть гробов одновременно, прожила аж сто шесть лет! – до глубокой старости оберегая семью и хлопоча над многочисленными внуками.

Мою мать, свою внучку Гиту, она почему-то называла прокурором.

Вот я и добралась до истории моей матери, о которой не перестаю думать даже спустя годы после ее ухода: о жизни ее и поступках. Не было дня, чтобы хоть на мгновение я не задумалась о ее судьбе, о врожденном авантюризме, о сопротивлении обстоятельствам и азартном преодолении препятствий. О моем незадачливом рождении... Короче, о том, что не дает мне покоя уже много лет.

Матушка моя, Майзель Гита Александровна, родилась в семье Александра Абрамовича Майзеля и Ревекки Яковлевны Потехиной, представителей последнего поколения «настоящих» баргузинских евреев: работающих, многодетных, истово привязанных к местности и своему хозяйству. Знаете, где я видала такие семьи? В израильских кибуцах, но не буду отвлекаться. В их семье все дети с малолетства были приучены к постоянному труду: кто стайки за скотом чистил, кто коней пас, кто за младшими приглядывал, кто за печью присматривал, кто – как старшие братья Яков и Иосиф – сено на зиму заготавливал. Хозяйство было не маленьким, зажиточным – и скот имелся, и кони, и подворье большое, так что работы хватало на всех.

Про своего отца Александра мать мало что рассказывала: он был немногословен и суров. А вот про свою маму, мою бабушку Риву, всегда говорила с обожанием, называла мудрой терпеливицей. Я-то не застала ни деда, ни бабушку, но их фотографии у меня и сейчас за стеклом книжной полки стоят: дед – почти точная копия Абрама Майзеля, бабушка даже в старости – библейская красавица с добрым усталым лицом. Между прочим, в семье так и продолжались два этих физиономических типа: либо по деду грубоотесанные «христопродавцы», либо по бабке, даже в смеси с другими кровями: хоть иконы Христа и Богородицы с них пиши. А вот в характерах многих Майзелей всегда доминировал авантюризм и свободолюбие предка Абрама.

Внешне мать в бабушку Риву пошла, очень красивая была! А вот по части характера огребла всю волю Майзелей, всю властность и презрение к любой рефлексии. Ее любимая фраза, ставшая кошмаром моих детских и юношеских лет: «Через тернии к звездам!» – проносилась ею на латыни по любому поводу. Самой ей этого семейного стремления «через тернии» к любой цели хватило сполна, чтобы вырваться из глухого таежного угла, выучиться в Иркутске на врача, стать «звездой Владивостока», влюбить в себя самого молодого и блестящего контр-адмирала Тихоокеанского флота... И разом потерять все в тот миг, когда я появилась на свет.

Но по порядку.

В школе она училась хорошо, но главное, выделялась такой артистичностью и бойкостью в драматическом кружке, что руководительница даже посоветовала ей ехать в Москву «на курсы чтецов» или что-то вроде этого. Дед Александр услышал эти новости не в лучшую минуту и прямо взбесился. Рывкнул: «Моя дочь – актриска?! Убью! Иди вон в стайку, Зорьку почисти...»

А она уже закусила удила, уже ощутила зуд в лопатках, уже поняла, что вся ее будущая жизнь будет погребена в стайке для скота.

Ночью собрала узелок с самыми необходимыми вещами, подговорила младшего брата Абрашку помочь ей и утром вышла из дому якобы «на минутку, к подруге». Дождавшись

за околицей брата, она – без денег! на перекладных! попутками! – добралась до Иркутска, где поступила... в медицинский почему-то институт (может, именно там место в общежитии нашлось?), о чем, впрочем, никогда не пожалела.

Дед потом простил свою блудную дочь – не сразу, конечно, – но когда она приехала в гости уже дипломированным врачом; простил, обнял, поцеловал... и гордился всю оставшуюся жизнь. Но все это было потом, потом, а учеба ее пришлась как раз на годы Великой Отечественной, и мать, работая после лекций медсестрой в эвакогоспитале, успевала еще бегать в «студию Плятта», организованную при эвакуированном Театре Моссовета. И когда все успевала?

Специализацию выбрала она странную, мужскую: дерматовенеролог. Но эта специализация удивительно подходила к ее характеру: резкому, упертому, поистине мужскому. Никаких сантиментов!

После окончания института получила распределение в Тувинскую автономную республику: сифилис и прочих «болезней от любви» там хватало. Об этих трех годах суровой практики у матери столько историй было! Она их охотно рассказывала в моем присутствии, ничуть не оберегая мое детское воображение от суровой прозы взаимоотношения полов. Наоборот. Вырастая при ней, я много чего из первых рук узнала в самом раннем возрасте и много чего понимала о настоящей, а не книжной жизни, за что до сих пор матери благодарна.

«Дали мне коня, благо я в седле с детства! – рассказывала мать. – Велели отправляться в какой-то отдаленный район. Прискакала я, значит, туда, смотрю: юрта, вокруг нее шаман бегают, в бубен колотит, а в юрте – женщина рождает, к потолку подвешенная... Ну и целых три года я жила одна в отдельной юрте – как королева Тувинская, – с шаманами сражалась, дважды отравления избежала, дважды в меня стреляли, вши чуть не заели меня до смерти... А сколько роскошной практики: сифилис, гонорея, триппер, твердый шанкр! Напрактиковалась на всю жизнь! Но простые тувинцы меня уважали, на прощание даже шубу подарили!»

Эту шубу, кстати, я отлично помню: из запрещенного к отстрелу соболя, тяжелая, маслянистая, черно-коричневая с золотистой искрой... она служила нам много лет.

Отрубив в Туве, как положено, аккуратно три года, матушка перебралась в Улан-Удэ, где какое-то время работала в железнодорожной больнице; и вот там некий пациент, попросивший у молодой, но опытной докторши тайную консультацию по «внезапной проблеме», настигшей его после дальнего рейса, – этот довольно высокопоставленный пациент предложил ей перевод во Владивосток.

Предложение по тем временам было заманчивым, даже ошеломительным: закрытый военный порт, дальневосточная надбавка к зарплате, хорошее снабжение, отдельная комната в коммунальной квартире, романтика, море... Наконец, моряки. Верх мечтаний молодой незамужней докторши.

Она согласилась, разумеется. Говорила: «И я открыла новую страницу своей жизни!» Она всегда была немного экзальтирована, и все это как-то уживалось с профессиональной врачебной жесткостью и насмешливым цинизмом.

Тут надо бы как-то описать, как-то «нарисовать картинку», чтобы вы ощутили уникальную, овеванную морской романтикой атмосферу Владивостока тех лет – закрытого тихоокеанского форпоста, украшенного кумачовыми растяжками со знаменитой ленинской цитатой: «Владивосток далеко, но город-то нашенский!»

Несмотря на закрытый режим, культурная жизнь города была гораздо богаче и насыщенней иных центральных и вполне открытых городов Союза. Известные артисты – музыканты и эстрадники – стремились на гастроли перед восторженно-благодарными ценителями искусства гостеприимного и щедрого города. Слава труппы местного драмтеатра гремела по всему Дальнему Востоку, интеллигенция и офицеры флота встречались на литературных и музыкальных

вечерах в Доме офицеров – своего рода элитном клубе, по роскоши и блеску уступавшему только легендарному ресторану «Золотой Рог», где кутили вернувшиеся из дальних походов моряки и их шикарные подруги – как правило, выпускницы Института искусств и гуманитарных факультетов Дальневосточного университета... А летом ко всему этому культурному пиршеству добавлялись еще и радости приморской жизни: ежевечерние променады по набережной, выезды на дальние бухты с экзотическими названиями Шамора и Юмора (загорать на городских пляжах считалось тривиальным), а также поездки в живописнейший Сихотэ-Алинский заповедник ради изысканного зрелища: цветущих лотосов.

И в этом-то городе моя матушка, как перспективный молодой специалист, получила комнату с балконом в просторной коммуналке: всего на шесть семей две кухни и два санузла – невероятная роскошь! – в доме, у жителей Владивостока известном под названием «Серая лошадь» (то ли скульптуры лошадей на фронте поспособствовали странному названию, то ли цвет формы железнодорожников, основных обитателей этого ведомственного жилья).

А ведь это и вправду была «новая страница» в ее судьбе!

Она быстро обустроилась, моментально обросла подругами и целым штатом поклонников (ее собственные усмешливые слова: «самцов всегда хватало!») и зажила жизнью молодой светской львицы.

Одевалась моя матушка всегда стильно, что показалось бы удивительным тем, кто знал истоки ее судьбы, начавшейся в стайке для скота. За новыми нарядами, пользуясь, как врач железнодорожной поликлиники, бесплатным проездом в любой конец страны, навещалась в Рижский Дом моды. Ее подруги рассказывали мне, уже после ее смерти, что соседки по «Серой лошади» караулили каждый матушкин выход из дома: «фасончик слизать».

Она регулярно посещала литературные вечера в Доме офицеров флота, да и сама участвовала в театральных постановках, где с удовольствием и немалым успехом декламировала. Вот где выплеснулся, где расцвел ее задавленный сценический дар! Особой популярностью пользовались в ее исполнении сцена расставания Катюши Масловой с Нехлюдовым, сцена у фонтана Марины Мнишек с Лжедмитрием и поэма Ольги Берггольц «Ленинградский метроном». Тексты эти помнила до глубокой старости.

В ее ближний круг входили известные в городе артисты, журналисты, врачи. Да она и сама считалась одним из лучших врачей в своей области...

Словом, жила «звезда Владивостока» красиво, элегантно и весело. А вот замуж выйти как-то не получалось. То ли характер был слишком уж независимый и резкий, то ли принца своего не встретила, но годам к тридцати пяти стали ее навещать обычные мысли нормальной бабы про то, что молодость не вечна, что годы летят; про тот самый пресловутый стакан воды в старости...

Всю жизнь моя мать привыкла ставить перед собой цели и добиваться их. Вот и к новой цели – родить ребеночка – она устремилась в свойственной ей манере: не сломя голову, а выстроив четкий план. Сама мне в этом неоднократно признавалась, никогда не скрывала, никогда не накидывала романтический флер на свои мысли и поступки. Ее знаменитая фраза «самцов всегда хватало!» так и звучит в моих ушах. Но тут ведь не о самце речь шла, а об отце будущего ребенка. Уж если рожать для себя в плановом, так сказать, порядке, так, конечно же, *от производителя с высокими качественными параметрами*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.